

Константин Леонтьев
Плоды национальных движений на православном Востоке*

I

В книжке моей о "Национальной политике"^[1] я старался доказать, что на Западе в XIX веке она до сих пор везде и при всех условиях вела к тому всеобщему *однообразию и смешению*, которые представляют собою самую сущность *всемирной революции* или ее *полусознательный* идеал. Если бы все вожди, деятели и участники этих политических движений разделяли бы мнение тургеневского Базарова, что *"все люди должны со временем стать между собою схожи, как березы в роще"* и дружно стремились бы к этой цели, то я назвал бы идеал их прямо *сознательным*. Полусознательным я его называю потому, что очень многие из "инициаторов" этой политики, из вождей и участников этого движения, вовсе этого однообразия не ищут, *но неожиданно находят его при конце своего пути*. И наоборот (вследствие сложности исторических приемов, долженствующих разрушить прежний культурный строй европейских обществ), случалось нередко, что *эгалитарные демократы*, т. е. именно те люди, которые ищут наиполнейшего однообразия всемирной жизни, *препятствовали*, противились этим национальным движениям и этой национальной политике, не *подозревая даже*, что политические националисты будут им превосходными союзниками, предтечами, уготовляющими и уравнивающими им дальнейший путь.

Примеров тому и другому роду заблуждений много, и я делаю над собою большие усилия, чтобы не увлечься подобными "иллюстрациями" из современной истории и не отклониться далеко от главной моей здесь задачи: проследить хотя бы в самых лишь общих чертах действия *того же племенного принципа на Востоке Европы, то есть - в России, в Турции и в странах христианских, освобожденных в XIX веке из-под власти последней*.

Заключение мое и здесь, к сожалению, то же самое!

Плоды племенной политики и национальных движений на православно-мусульманском Востоке *ничем существенным* до сих пор не отличаются от плодов того европейского *государственного национализма*, который шаг за шагом разъедает великие и столь разнородные прежде культурные формации Запада, видоизменяя их в пользу всеобщей демократизации и эгалитарного всепретворения.

Европейский Восток *на глазах наших, в менее резких и ясных формах, с приемами менее решительными*, до сих пор повторял в недрах своих только то, что делал Запад.

Каковы бы ни были второстепенные оттенки, отличающие новейшую историю православной России и мусульманской Турции от современной истории католической и протестантской Европы, — главный, несомненный результат один: *большее противу прежнего равенство личных прав и общественных положений; ослабление религиозных чувств и влияние духовенства, усиление индустриального движения и конституционных вкусов; торжество общеевропейских демократических мод и обычаев над местными привычками, предубеждениями и пристрастиями; большее противу прежнего всеобщее сходство воспитания в классах правящих, при неотстранимом все-таки ничем (и всего менее равенством и равновесием) антагонизме интересов*.

Одним словом — *космополитизм* духа, вкусов, нравов и т. д., ничуть не исключаящий при этом ни взаимной ненависти, ни всякого рода ожесточенной борьбы, ни даже кровавых схваток вроде недавней войны между сербами и болгарами, *столь сходными между собою*, — как в низших, еще патриархальных слоях общества, так и в высших, "объевропеенных", так сказать.

Мысли, подобные этим, я знаю, должны радовать наших "европейцев" и либералов; славянофилов и просто "консерваторов", напротив того, они должны возмущать или огорчать. Возмущать — если все то, что я говорю, представляется им грубой ошибкой; огорчать — если они находят все это печальной правдой.

В минуту утраты веры в наше особое от Запада историческое призвание, конечно, и я прежде всего огорчаюсь...

И как уберечься от таких минут, когда видишь, что за очень немногими исключениями люди образованные и умные у нас, в России, ни жить, ни мыслить — иначе как по-европейски — до сих пор не могут...

Ведь и любя Россию всем сердцем, гражданин не обязан *веровать* в ее долгую и действительно славную будущность, без колебаний и сомнений.

Это не религиозная вера, не *личное* православие, где колебания и сомнения *повелено* считать "искушением", малодушием и где существует прямая обязанность их с молитвою отгонять.

В гражданском деле — зачем иллюзии?

Быть может, иллюзии эти в свое время были нужны и сослужили свою службу в общем ходе дел, но раз мы начинаем прозревать понемногу, на что же себя искусственно ослеплять? Какая польза?

Я не говорю, что я отчаиваюсь вовсе в *особом* призвании России. Я признаюсь только, что я нередко *начинаю* в нем сомневаться. Во всяком случае, недаром же простерся этот колосс между древними цивилизациями азиатского Востока и романо-германской Европы. Последняя вся несомненно шаг за шагом все более и более близится к идеалу безбожной и однообразно-рабочей федеративной республики.

Никакие Бисмарки, никакие Гогенцоллерны Европе от этой будущности ее не спасут. Они сами даже, войнами и победами своими видоизменяя глубоко социальную почву и в среде своей нации, и у побежденных соседей, только ускоряют осуществление этого отвратительного идеала.

Они усиливают *сходство строя и быта*; они ускоряют всеобщую *ассимиляцию нравов*... Современная политическая борьба, *оканчивая* по очереди один за другим все *племенные вопросы*, *приготавливает* этим путем *республиканскому космополитизму*. Какую же роль должна играть Россия в этой трагедии явного всеразрушения, которому еще гораздо более динамита и крупновских пушек способствуют так называемые "всеполезные" изобретения: железные дороги, телеграфы, телефоны, всемирные выставки и т. д.?

Какую? Что должна она избрать?

Уступить всеобщему движению?

Стать во главе его, покончив, подобно другим, *как можно скорее* и *как попало* все *племенные счета* свои?

Пожертвовать *дальнейшим* будущим своим *ближайшему* и полному *племенному* торжеству, которое, связав судьбу нашу *преждевременно* с судьбою *западных славян*, непременно повлечет за собой окончательное потрясение и без того поколебленных *истинно национальных устоев* наших?..

Или, различив глубоко в политическом идеале своем вопрос *Православно-восточный* от вопроса *Всеславянского*, считать первый единственным *якорем спасения*, а второй — лишь *неизбежным* (либеральным) злом, "крестом", испытанием, ниспосланным нам суровой историей нашей.

Если люди *власти и влияния* дойдут у нас до этого глубокого различия, если они приложат все силы свои на служение *делу православно-восточному* и с величайшим недоверием станут впредь смотреть на *дело всеславянское*, если они, эти русские люди власти и влияния, будут последнее, *чисто племенное дело* считать *обыкновенным и весьма опасным либеральным делом в общеевропейском вкусе*, — тогда наша культурно-государственная будущность спасена, даже и при панславизме.

И быть может, и вся Европа со временем будет нам признательна за то, что *наконец-то мы дерзнули стать и пребыть сами собою*, ни на чьи вредные примеры не взирая; быть может, тогда вся Европа будет простирать к нам руки почтения и любви с

мольбою о помощи, как простирает их теперь Франция, *во всем*, и в первых шагах развития, и в первых попытках разрушения, *шедшая впереди других* государств и наций...
Иначе!!

II

В тех прежних письмах моих, где я занят был преимущественно Европой Западной, я вынужден был, однако, прежде всего вспомнить об эллинском восстании 20-х годов. Здесь же мне для ясности изложения необходимо повториться.

В первом случае я руководился тем соображением, что национальное восстание и освобождение греков из-под долгого ига мусульман было в XIX веке *первым по времени* движением этого рода. Теперь же, имея в виду Россию и Турцию, мне опять нельзя обойти греков, вследствие их *особого значения* среди народов Востока.

К тому же в этом движении греков идея свободного *национализма* особенно тесно была связана с идеей *демократической* и по *источникам*, и по *результатам*.

Еще раньше 20-х годов, когда еще все греки находились под властью султана, у них был весьма популярный поэт Рига Фереос... Он неудачно агитировал против Турции и был расстрелян.

Греческие биографы его утверждают, что он, не находя еще возможности выделить хоть часть своих соотечичей в особое *национальное* государство, действовал в духе *космополитических* идей XVIII века. То есть он хотел поднять в Турции движение против *деспотизма и неравенства вообще* и призывал к восстанию против султана и его пашей не одних только греков и даже не одних только христиан, но и ту значительную часть мусульманского населения, которая представлялась ему тоже страдающей от самовласти пашей и янычар. Рига Фереос был напитан теми самыми идеями личного равенства и личной легальной свободы, которые выразились французской революцией XVIII века. Имя его у греков было, я сказал, весьма популярно. Значит, эти *либерально-эгалитарные идеи* *предшествовали* в умах эллинских "предтеч" (precurseurs) мыслям об *эмансипации собственно национальной*. Другими словами: последняя возросла на первых; она была подготовлена ими. Общелиберальные веяния XVIII века проникли еще заранее и в греческие умы, хотя, быть может, и смутно.

Религиозную идею (Православие) эллинское движение взяло себе только в *пособницы*. Систематических гонений на *само Православие* в Турции не было; но существовали сильнейшие и грубые гражданские обиды и стеснения вообще для *лиц не мусульманского исповедания*. Понятно, что при таком положении дел легко было не отделять *веры* от *племени*. Естественно было даже ожидать, что *свобода племени* повлечет за собою *возвеличение Церкви и усиление духовенства* через возрастание веры в паству; ибо *сильная вера* паствы имеет всегда последствием *любовь к духовенству*, даже и весьма недостаточному. При сильной вере (какого бы то ни было рода, дикой ли и простодушной, или сознательной и высокоразвитой — все равно) мистическое чувство и предшествует нравственному, и, так сказать, увенчивает его. *Оно*, это мистическое чувство, *считается главным*, и потому живо верующая паства всегда снисходительнее и к самим порокам своего духовенства, чем паства равнодушная. Сильно верующая паства готова всегда с радостью усиливать права, привилегии, власть духовенства и охотно подчиняется ему даже и не в одних чисто церковных делах.

В те времена, когда освобождающиеся от чуждой власти народы были руководимы вождями, еще *не пережившими* "веяний" XVIII века, — эмансипация наций не только не влекла за собой ослабления влияния духовенства и самой религии, но имела даже противоположное действие: она усиливала и то и другое. В русской истории, например, мы видим, что со времен Димитрия Донского и до Петра I значение духовенства, даже и политическое, все растет,

и само Православие все более и более усиливается, распространяется, все глубже и глубже входит в плоть и кровь русской нации. Освобождение русской нации от татарского

ига не повлекло за собою ни удаления духовенства с поприща политического, ни уменьшения его веса и влияния, ни религиозного равнодушия в классах высших, ни космополитизма в нравах и обычаях. Потребности русской племенной эмансипации во времена св. Сергия Радонежского и князя Ивана Васильевича III *сочетались в душах руководителей народных не с теми идеалами и представлениями, с которыми в XIX веке сопрягается национальный патриотизм в умах современных вождей.* Тогда важны казались права веры, права религии, права Бога; права того, что Владимир Соловьев так удачно зовет *Бого-властием.*

В XIX веке прежде всего важными представляются права *человека*, права *народной толпы*, права *народовластия.* Это разница.

Подобных же сравнительных примеров обоего рода мы можем найти несколько и в истории Западной Европы. И там раньше провозглашения "прав человека" ни *племенные объединения*, ни *изгнания* иноверных или иноплеменных завоевателей не влекли за собой *либерального космополитизма*; не ослабляли религии; не уничтожали дотла и везде ни дворянских привилегий, ни монархического всевластия... Религия (какая бы то ни была) везде усиливалась и как бы обновлялась после этих объединений и изгнаний. Что касается до монархии и аристократии, то, хотя в одной стране первая усиливалась на счет второй, а в другой — вторая на счет первой, но нигде они ни религию, ни друг друга до полного бессилия не доводили. Всего этого достиг в конце XVIII века и в XIX "средний класс"; все это совершили те "средние люди", в которых теперь все и *сверху*, и *снизу*, *волей* или *неволей* стремятся обратиться.

"Собирание" Франции начало быстрее совершаться при набожном Людовике XI, *после изгнания англичан* при отце его Карле VII, и окончилось (если взять в расчет централизационную деятельность Ришелье) приблизительно ко времени тоже набожного Людовика XIV.

Это объединение ничуть не поколебало во Франции католических чувств... Напротив того, эти чувства во время борьбы с заносным протестантизмом дошли, как известно, до фанатических крайностей.

Протестантство едва-едва добилось, наконец, до равноправности, но до преобладания ни разу не достигло...

Национальное объединение Франции не поколебало в ней *тогда* ни одной из национальных *основ.* *Сочетание* этих основ между собою, изменяясь значительно в XV и XVI веках, не только не сделало Францию *более схожей* с остальным миром, но, напротив того, яснее и гораздо выразительнее прежнего *обособило ее культуру.*

И в Англии, и в Шотландии одинаково преобладало издавна англосаксонское племя над кельтическими остатками. В начале XVII века^[2], при Иакове I, эти две державы соединились. Династия царства слабейшего вступила на престол сильнейшего царства.

И это было *племенное объединение*; и это было благоприятное решение *национального* вопроса. Но оно ничуть не сделало великобританцев *эгалитарными космополитами* в нынешнем *общечеловеческом* смысле. Напротив того, *либерально-аристократический* характер учреждений определялся после этого постепенно все яснее и точнее. Характер церкви Англиканской в эти именно времена, последовавшие за *слиянием*, выразил вполне свое *исключительно местное*, чисто национальное значение, *обособился.*

Религиозные чувства в протестантской Англии (подобно католическим чувствам в "объединенной" Франции) не только не ослабли, но стали даже исступленными и произвели одну за другою две революции. Первая была ужасна, но вторая (против Иакова II, в 1688 г.) была легка, ибо к этому времени *национально-культурные особенности Англии* стали *до того резки и прочны*, что *защищать их уже не стоило большого труда и кровопролития.*

На Пиренейском полуострове долгая борьба христиан с мусульманскими завоевателями, которые несколько веков господствовали на юге этой страны, окончилась в XV веке покорением Гренады. Это завершительное *торжество* испанцев над *иноверными пришельцами* произошло почти одновременно с *национальным объединением* их при Фердинанде и Изабелле, которых брак соединил Арагонию с Кастилией.

Но и здесь национальное единство, одновременное с очищением всей национальной почвы от чуждого владычества, *не послужило к обезличению и космополитизму* испанского характера.

Именно со времен Фердинанда и Изабеллы стали еще резче прежнего обозначаться государственные, бытовые, литературные, художественные и вообще национальные особенности испанского народа.

Худы или хороши были эти особенности; удобны ли или тягостны они были для большинства, — я в это здесь и не вхожу. Для моей цели достаточно напомнить, что они, как известно, были во многом *очень резки*.

Я здесь не занимаюсь ни утилитарными, ни гуманитарными соображениями. Я не отказываюсь уважать их *вообще*; ибо и я не изверг; я только их в этом труде *устраняю мысленно*, как геометр устраняет в линиях *ширину*, которую, однако, в действительности имеет всякая *линия*. Вопрос культуры и политики и без того очень сложен, и входить еще в соображения о том, что было жестоко и что несправедливо — значило бы еще более затемнять его.

Для меня достаточно напомнить и заявить: вот как действовали в веках XV, XVI и XVII все эти *национальные объединения*, все эти *изгнания* иноземцев и иноверцев, все эти *очищения племенных государств* от посторонней примеси. Национального не искали тогда сознательно, *но оно само являлось путем исторического творчества*.

Каждый народ в то время шел своим путем и своей независимостью обогащал по-своему великую сокровищницу европейского духа.

Не то мы видим теперь!

Теперь (после объявления "прав человека") всякое объединение, всякое изгнание, всякое очищение племени от посторонних примесей дает одни лишь космополитические результаты.

Тогда, когда национализм имел в виду не столько *сам себя*, сколько интересы религии, аристократии, монархии и т. п., тогда он *сам себя-то и производил невольно*. И целые нации, и отдельные люди в то время становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее.

Теперь, когда национализм *ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей* не во имя *разнородных*, но связанных внутренне интересов религии, монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы *самого племени*, результат выходит везде более или менее *однородно-демократический*. Все нации и все люди становятся все сходнее и сходнее и вследствие этого все беднее и беднее духом.

Национализм *политический, государственный* становится в наше время губителем национализма *культурного, бытового*.

Неузнанная сначала в *новом виде* своей демократическая всесветная революция начинает после каждого нового успеха своего все скорее и скорее сбрасывать с себя лженациональную маску свою; она беззастенчивее прежнего раскрывает с каждым шагом свой искусно избранный *псевдоним*!

Не ходя далеко, мы увидим прекрасно новейшую беззастенчивость эту из сравнения греческого освобождения 20-х годов с болгарским *семидесятых*. Чем дальше — тем хуже!

III

Всеравняющий дух XVIII века уже пронесся по всему христианскому миру, когда греки подняли знамя своего государственно-национального восстания, взяв идею

Православия лишь в сильные пособницы своему эгалитарному либерализму. Без народа нельзя бунтовать, а народ греческий и до сих пор *весьма* православен.

Выражение *эгалитарный либерализм* я здесь употребляю не в смысле стремления греков к свержению власти *неравных* с ними, *привилегированных, стеснявших* их мусульман, — а по отношению к социальному составу их собственной греческой среды и *под турком, и без турка*.

В Турции и в то время не было глубоко выработанного сословного строя. Не входя в подробности, можно вообще сказать, что в этой империи было только два главных слоя: мусульмане и "райя". Эти два слоя, *оба весьма равные в своей собственной среде*, были очень просто и грубо наложены завоеванием один на другой. Были в среде христиан привилегии, дарованные там и сям иноверной властью; но эта неравноправность имела характер более *провинциальный, чем сословный; более местный, областной или муниципальный, чем родовый или наследственный*. Имела, конечно, в старину и там родовитость некоторый вес, но очень шаткий. Действительно же прочные привилегии против массы мирского населения имело "под турком" только *православное духовенство* (в то время почти сплошь греческое). Патриархи и епископы являлись перед Портой официальными представителями, заступниками христиан и в то же время начальниками их и даже во многих случаях бесконтрольными судьями... Что касается до мирян православных, то, кроме духовенства, определенных юридических слоев в их среде не было. Все держалось обычаем, и преобладали, конечно, только богатство и грамотность, — как преобладали они везде, где нет ни силой, ни законом утвержденного дворянства...

И вот в южных частях Балканского полуострова и на некоторых островах иго мусульман свергнуто (с помощью России) к 30-му году.

Греки новой Эллады свободны...

Повторять ли и здесь то, на что я уже указывал прежде... Я думаю — не нужно?

Дворянства нет; синод вместо Патриарха (т. е. форма против светской власти более слабая), духовенство устранено от прямого влияния на гражданские и политические дела... Конституция в высшей степени либеральная *с одной только палатой*, т. е. без тормоза... Неслыханное множество газет на столицу, которая меньше нашей Одессы... *Фрак и сюртук* европейской буржуазии, господствующие *de facto* над дикой и своеобразной поэзией *шальвар и фустанеллы*. "Корсар" Байрона стал чернорабочим или простым мошенником проезжих дорог. Он ездит на козлах кареты или коляски *европейского иноверного короля, по-европейски одетого*. Король Оттон и супруга его еще любили оба носить греческую одежду. Это им не помогло, и король Георг уже не находит это нужным для популярности. *Никто уже из греков, видно, не нуждается в этом*. В европейском "проще"; "все так нынче одеваются". "Это удобнее!" И так далее. Пышная, изящная фустанелла с престола попала на козлы!..

Это тоже *символ* времени; символ все большего и большего претворения всех местных, истинно национальных особенностей, столь живописных и возбуждающих дух любви *к своему*, — в одном всеобщем стиле общеевропейской прозы.

Эдм. Абу писал свой памфлет "Современная Греция" против свободных греков в 50-х годах, под влиянием досады на них за то, что они были на русской стороне во время дунайской и севастопольской борьбы. В его книге много преувеличений, но много и злой правды.

Абу прежде всего сам именно то, что я предлагаю называть для ясности *"средним европейцем"*. Умеренно либеральный француз; нравами и обычаями европейской буржуазии вполне довольный; религии демократического прогресса поклоняющийся, ко *всякой "ортодоксии"* равнодушный; любящий, как многие, эстетику *искусства*, не понимая ничего в эстетике *жизни*... и т. д. . Одним словом, это несколько более других способный и довольно даже остроумный представитель именно того общеевропейского типа, одна мысль о котором приводит иногда в истинное отчаяние того, кто вообразит, что этот тип есть разгадка и венец всей истории человечества.

Абу — это именно тот несколько более других "средних людей" крупный "средний человек", "genre" которого так справедливо ненавидел бедный и гениальный Герцен, сбившийся со столь естественного в нем, московском барине, религиозного и аристократического пути.

Этот Абу в своей книге гневается на то, что греки свободной Эллады *слишком любят Россию*, на то, что они *слишком набожны и православны*, на то, что про западных христиан они говорят: "Это худо, крещенные собаки" (это его слова, а не мои). Он издевается над афинскими молодыми людьми *того времени* (50-х годов) за то, что они на вопрос: "Куда вы идете?", отвечают *очень просто и не смущаясь*: "Я говею; иду к своему духовнику". Ему это прямое и простое отношение к религии отцов, эта набожность в человеке, кой-чему обучившемуся и по-европейски "чисто" одетому, — кажется и глупой, и даже удивления достойной!..

Абу пророчит между прочим, что "через *сто* лет не останется ни одной фустанеллы на свете". "Не будет больше *паликаров*" (то есть молодцов, носящих греческую одежду).

Теперь этот развязный шелкопер, называющий себя учеником Вольтера, был бы, вероятно, гораздо довольнее греками свободной Эллады. Самодержавную Россию они разлюбили (отчасти по нашей вине, отчасти же *и по собственной*).

Если они нейдут и не пойдут, вероятно, против нас слишком открыто и слишком сильно, то это лишь потому, что болгары теперь идут против нас и что мы болгарам недовольны. *Говеть и не стыдиться говения* (я заглазно уверен в этом!) многие за истекшие 30 лет уже перестали. "Фустанелла" попала на козлы...

И, конечно, если не будет у нас в России (да, *главное* в России) глубокого поворота в духе по окончанию Восточного вопроса (*на Босфоре и Дарданеллах*); если у нас в России *взгляды, подобные моим*, не возьмут верх *надолго*... Если не станет ненавистен нам именно тот тип *развития*, к которому принадлежит сам Абу, то не нужно ждать и *ста лет!*

Гораздо раньше этого не только "фустанеллы" и православной набожности в Греции, но и вообще ничего в ней греческого, кроме языка, не останется!

Только русские, *переменивши центр своей культурной тяжести*, могут стать во главе *нововосточного* движения умов и перерождения жизни...

Греки *очень хороши*, очень содержательны, очень симпатичны даже, пока их сравниваешь только с югославянами. Они во всех отношениях выше их. Но и только!

Ведь это похвала невысокая — "в царстве *слепых* признать кого-нибудь *кривым лишь на один глаз*".

Мой идеал ясен, если не в подробностях положительных форм, то, по крайней мере, в отрицательной основе своей: *как можно меньше современно-европейского во всем*.

Греки же новые в высшей степени падки до *стиля Абу* и даже не видят и не сознают того, до чего они европейцы, в самом дурном значении этого слова.

Дух свой они полагают только в *языке* и в *сильном племенном* государстве, о котором они мечтают издавна и тщетно.

Я говорю о *государстве*; я не говорю о *государственности*, т. е. о *своеобразном, глубоком строе политических учреждений*. Это уже культурная точка зрения.

Этого у них вовсе нет и едва ли будет...

Я, впрочем, о греках еще не все сказал.

Прошу терпения.

IV

Изю всех видных и влиятельных деятелей 20-х годов только один Меттерних понял истинный исторический дух греческого восстания. Он один только "чуял", что в сущности это движение — все та же всемирная *эгалитарная* революция, несмотря на религиозно-национальное знамя, которым оно прикрывалось. *Люди движения* могли быть искренни в

намерениях своих; но само движение должно было стать обманчивым благодаря уже пронесшимся над всей Европой духам разрушительного опошления.

Быть может, Меттерних понимал яснее других тайный дух и будущее значение этой национальной инзуррекции лишь потому, что он был защитником и представителем интересов *самого не племенного в мире государства*. Существуют инстинкты и психические навыки *звания и положения*.

Он не имел насчет греков тех иллюзий, которые имели в его время столькие другие замечательные люди: лорд Байрон, Шатобриан, даже дипломат Каннинг. У Каннинга за соображениями чисто государственными (вроде того, что нельзя допустить Россию *одну*, без нашего, английского вмешательства, распоряжаться судьбами Востока) стояло, видимо, еще и личное сильное культурно-эстетическое эллинофильство.

Почти все видные деятели того ("романтического") времени ждали от освобожденных эллинов чего-то особенного, *творчески-национального*, неслыханного и поучительного.

Надо помнить, какое тогда было время! "Властителями дум" были в те годы не Лессепсы и Эдисоны, а Байрон и Гёте!

Все ждали... и дождались самой обыкновенной рационалистической европейской демократии во фраке и с неслыханным множеством пустопорожних газет!

Нынешние греки, бесспорно, имеют важное в современной истории значение, но это благодаря лишь своему древнему и славному *монашеству*, которое владеет четырьмя Патриаршими Престолами и являет и теперь еще образцы великого аскетизма на Святой Афонской Горе и на Синае.

Но с истинным ужасом надо сознаться, что и эти столпы Православия поколеблены несколько за последние тридцать лет совокупными усилиями: болгарской *революционной интриги*, русской *племенной политики* и *рационализмом собственной эллинской интеллигенции*.

О вреде, который могли причинить Восточным Церквям за это же время естественное злорадство турецкого правительства и враждебные действия иноверных держав, — я умалчиваю; ибо силу этого "внешнего", так сказать, вреда нельзя сравнивать с тем злом, которое сделали греческому духовенству и Православию сами восточные христиане (*европейского духа*) *своей племенной борьбой*, начиная от 60-го года (когда болгары в первый раз прекратили возношение имени Вселенского Патриарха в своих церквях) и до нашего времени, когда жалкий сербский король позволяет себе так безбоязненно и нагло обращаться с уставами Церкви!

Это истинно ужасно!

И ужасно оно тем более, что у нас, русских, при нашей вялости и при каком-то всевыжидающем бесстрастии (*именно там, где страстность была бы спасительна*), нет умения вовремя узнавать в организме своей Церкви и своего государства *те же самые болезни, которые губят Запад*! Мы не узнаем того же худосочия лишь потому, что у нас весьма второстепенные припадки его имеют несколько иной внешний вид, чем на Западе.

Мы у себя, на Востоке, медленно подтачиваем и подмываем *то*, что в западных странах ломали ломом и взрывали порохом люди более нас убежденные, страстные и энергические! И ко всему явно или тайно, но примешан этот *племенной принцип*, в *чистоте* своей губительный для всего того, что дает истинную жизнь человечеству; губительный для религии, для государственности и даже для эстетики!.. *Не для эстетики "отражений" на полотне или в книгах, а для эстетики самой жизни*, — ибо без мистики и пластики религиозной, без величавой и грозной государственности и без знати блестящей и прочно устроенной — какая же будет в жизни поэзия?.. Не поэзия ли всеобщего *рационального мещанского счастья*?

Возвращаясь опять к более и более освобождающейся в этом веке новогреческой национальности, необходимо прибавить еще, что и тот в высшей степени важный элемент, греческое монашество, об ослаблении которого я с сокрушением сердца только

что говорил, держится еще и сильно иногда влияет в греческой мирской среде, преимущественно благодаря тому, *что греки еще не достигли своего полного национального освобождения и объединения.*

Я уже прежде гораздо подробнее и нагляднее, чем здесь, объяснял в I томе моего сборника (в статье "Русские, греки и юго-славяне"), что "интеллигенция" греческая гораздо "рационалистичнее" и суше в деле религии, чем наша, и потому тот, кто желает знать ближе мои на нее взгляды, может прочесть ту статью...

Здесь я упоминаю об этом лишь для того, чтобы сделать одно предположение — и вывести из него естественный вывод.

Если бы предположить, что греки достигли своего наиполнейшего (возможного в их мечтаниях и невозможного, слава Богу, на деле) объединения *даже со столицей в Царьграде*, то чего бы можно было ожидать по прежним примерам?..

Конечно, глубочайшего падения Православия — и больше ничего!

Теперь греческая "интеллигенция" еще держится за Патриархов, за духовенство свое и на монастыри не может посягнуть прямо, минуя турецкую (столь часто, увы, спасительную для христианства) власть! Эта самодовольная в мелком европеизме своем интеллигенция держится за *Церковь в Турции* лишь потому, что она до поры до времени ей оплот и удобный представитель среди иноверных сил и иноплеменных влияний...

Я сам знал лично и таких людей между образованными и весьма влиятельными греками, *которые пламенно желали в 72-м году церковного разрыва не только с болгарами, но и с Россией и употребляли все усилия, чтобы довести до этого безумия свое духовенство.* Духовенство же, хотя и недовольное русскими за их эмансипационное болгаробесие, не позволило себе такого неканонического шага.

Некоторые из мирских греков мечтали даже, что, именно оторвавшись от славянства, они *создадут* новую, свою особую оригинальную *религию*¹ Как это на них похоже! Таков, между прочим, был в 72-м году *г. Марули*, человек очень образованный и способный, *восседавший немного позднее на боннской конференции, как представитель строго догматического Православия.*

В 72-м году, в городе Серресе, в доме г. Конто, русского "ad honores"³ вице-консула, он сказал мне так:

— Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что греческое племя, уже давшее миру прежде две великие религии — древнеэллинскую и православную, — в силах создать и третью, тоже великую...

На это я ему ответил так:

— Для того чтобы создать, как вы говорите, новую веру, надо самому сильно верить; нужно иметь глубокие мистические порывы и потребности. А я именно этих-то порывов и потребностей не вижу вовсе ни в вашем образованном классе, ни в народе, хотя и живу с ним здесь в дружеском общении вот уже скоро десять лет. В России этих чувств в высшем классе общества гораздо больше, чем у вас. Мы начинаем пресыщаться рационализмом, а у вас он только что начал расти. Отделясь от России, вы только разрушите свою Церковь и повергнете скоро нацию вашу в безбожие. У нас и мужики создают секты под влиянием мистических стремлений, а у вас, кроме чистого деиста Кайра, в этом роде не было никого.

Умный Марули внимательно поглядел на меня через золотые очки свои и задумчиво замолчал. Года через два-три (кажется) он был послан в Бонн для рассуждений об "исхождении Св. Духа" и т. п. предметах".

Это один из лучших представителей греческой интеллигенции, большого ума человек.

"Отрицание" *до поры до времени*, до желательного окончания *либерально-национального* вопроса, отрицание относительно религии, довольно, впрочем, *осторожное*. И больше ничего. Не по-болгарски дерзкое и преступное...

И во всех других отношениях ничего особенно национального, кроме политического патриотизма; ничего творческого, ничего поражающего. Ничего, кроме самой обыкновенной европейской демократии...

Современная, довольно грубоватая французская буржуазность, переведенная на величавый язык Иоанна Златоуста и Фу-кидида, — и только... Вот плоды так называемого национального возрождения греков.

V

Я сказал, что Меттерних, кажется, один только из всех влиятельных современников первого греческого восстания понимал истинный характер этого движения. Если при этом он имел другие соображения, собственно как австрийский министр, если он боялся, что, потрясая и ослабляя Турцию, это движение греков слишком усилит (со временем) Россию, то такого рода частное политическое соображение чисто австрийского рода ничуть не уменьшает силы его общеисторической прозорливости. *Плоды национально-греческого движения оказались общедемократическими европейскими плодами.*

Многие эллинофилы того времени, ожидавшие от "возрождающихся" эллинов чего-то особенного, были впоследствии глубоко разочарованы.

Байрон скончался, не выдавши той демократической казенщины, которая воцарилась очень скоро у подножия Акрополя; но другие филэллы 30-х годов дожили и до нашего времени. Покойный Михаил

Николаевич Муравьев-Виленский, уже старцем встречая в Западном крае молодого короля эллинов, когда он ехал в Петербург (в конце 60-х годов), сказал ему приветственную речь и в ней, между прочим, упомянул и о том, что он в молодости сам был эллинофилом и что "греки обманули ожидания всех своих прежних друзей".

Разочаровался в "свободных" греках и Государь Николай Павлович, который сделал так много для их эмансипации.

Во время трехлетней борьбы нашей с Турцией и ее союзниками на Дунае, в Крыму и за Кавказом (53—56) свободные греки, даже и стоявшие за нас, жаловались, что Государь не хочет для Эллады ничего сделать. Греческий публицист Реньери, вообще в то время благоприятный нам, приводил даже следующие слова Государя Николая I (слова, сказанные, кажется, Сеймуру): *"Этому демагогическому народу я не дам ни пяди земли"*.

Документов у меня под рукою нет, пишу на память, и если вкралась какая-нибудь неточность, прошу мне ее извинить.

Но как бы то ни было, как бы ни изменил своего взгляда на греков свободного королевства Государь Николай I, ко времени Крымской войны, в 29 году, он им помог освободиться больше, чем кто-либо другой на всем свете. Не Наваринская битва окончила неравную, жестокую и долголетнюю борьбу их с Турцией, но взятие Дибичем Адрианополя. Начнись подобное движение не в 21 году, а десять лет позднее — в 31 г., едва ли бы Николай Павлович стал бы ему благоприятствовать. Вернее, что он постарался бы утешить его в начале.

Государь Николай I был истинный и великий "легитимист".

Он не любил, чтобы даже и православные "райя" позволяли себе бунтовать против султана, он *самому лишь себе* основательно предоставлял законное право побеждать и подчинять султана, как Царь царя.

Но и у великих людей определенный образ мыслей слагается не вдруг, и для них нужны время и опыт, необходимы сильные впечатления жизни.

Вооруженное заступничество его за греков благополучно окончилось *прежде* июльской революции во Франции и польского восстания 30 года.

Эти последние события имели, видимо, сильное влияние на его взгляды и, конечно, определили дальнейший, в высшей степени охранительный характер его блестящего Царствования.

Неудачный и легкомысленно либеральный дворянский бунт декабристов не мог еще внове так повлиять глубоко на его царственный ум, как потрясли и вразумили его позднее происшествия 30-х годов. С этих годов Государь стал противником всякой эмансипации, всякого *уравнения*, всякого *смещения* и у себя, и у других. Уверяют, будто бы он желал освободить наших крестьян, но не успел. В пользу этого мнения есть много важных указаний. Но я все-таки думаю, что, и не скончавшись он в 55-м году, все бы он не решился этого дела начать. У замечательных государственных людей есть чутье, есть какой-то эмпирический инстинкт, подобный тому, какой бывает у хороших врачей-практиков. Этот инстинкт, не зная еще соответственной делу теории, уже предчувствует ее и действует сообразно с нею. И точно так же, как у хороших врачей-практиков, — недостаточные и даже ошибочные объяснения, по незрелой и неясной еще теории, ничуть не мешают правильным действиям, так бывает и у государственных людей. Теперь, к концу XIX века, теория социальная должна начать склоняться мало-помалу опять к идеалу неравноправности, мистической дисциплины, сильной власти и т. д. Это особенно разительно, если сравнить конец XVIII века с концом нашего. Вспомним, какая тогда была *вера* во благо эгалитарного и демократического прогресса! Какие *надежды* на индивидуальный и собирательный *разум* человечества! Вспомним, как в Париже праздновали праздники в честь этого "разума". На какие только жертвы и на какие только ужасы не были готовы тогда самые даровитые и искренние люди во имя "равенства и свободы"!

И теперь толпы еще стремятся к наибольшему уравнению и будут еще долго стремиться к нему, проливая даже кровь... Будет еще много людей способных и прямых, которые станут охотно служить этим стихийным инстинктам толпы, не говоря уже о людях только честолюбивых и коварных, готовых стать во главе всякого движения... Все это так, но все-таки *чувствуется*, что в высших умственных сферах этой прежней пламенной веры во благо демократического прогресса уже давно нет и что розовым надеждам этой вчерашней старины уже не вернуться более! И во всемогущество и всеблагость "*разума*" человеческого кто же из нас в эти последние года XIX века верит так безусловно, так *богомольно*, как верили в него прежде самые великие умы? *Никто!*

Можно и в наше время, положим, верить в еще большие успехи демократии и всеобщей ассимиляции в одном общем типе "среднего европейца". Можно верить, но *только* в самые *успехи*, а не во *благо* этих успехов. Мы верим и в неизбежность старости и смерти своей, и в неотвратимость множества других бедствий, скорбей и разрушений. Мы верим, но не любим их.

Что касается до социальной науки, то раз она принуждена была допустить, что всякое общество и государство, всякая нация и всякая культура — суть своего рода организмы, — а во всяком организме развитие выражается *дифференцированием* (органическим разделением) в *единстве*, то она должна допустить и обратное, то есть что близость разложения выражается *смещением* того, что *прежде было дифференцировано*, а потом, при большой *однородности* положений, прав и потребностей, *ослаблением единства*, царившего прежде в богатой разновидности составных частей.

Распадение же на части, как результат ослабления единства, есть конец всему.

Ибо "состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия".

И Наполеон I, по свидетельству Тьера, находил, что на французской почве (даже и его времени) трудно было что-нибудь строить, ибо она "*как песок*". Он мечтал создать военное дворянство; советовал ученым образовать крепкие *корпорации* наподобие монашеских и т. д.

Он тоже, не зная таких теорий, которые становятся возможными только в наше время, государственным инстинктом своим чувствовал эту истину общественной статистики. *Эгалитарное смещение сословий и сильное стремление к сплошной и вольной однородности, вместо прежнего деспотического единства в разнообразно и сдержанно антагонистической среде, — вот первый шаг к разложению.*

Будем же и мы продолжать служить *этому смешению и этой однородности, если хотим погубить скорее и Россию, и всё славянство!*

VI

В октябрьской книжке "Русского вестника", в отделе критики, есть чрезвычайно любопытная статья под заглавием

"И. С. Аксаков в его письмах". Особенно интересна объяснительная записка, которую вынужден был молодой Аксаков представить в ответ на вопросы III отделения в 49 году. На этом ответе некоторые места подчеркнуты Государем Николаем Павловичем, и против них Государем же сделаны собственноручные заметки. Против того места, где Аксаков пишет о "сердечном участии так называемых славянофилов к западным славянам и вообще к положению единокровных и единоверных своих братии", Император сделал следующую заметку:

"...Под видом участия к мнимому утеснению славянских племен таится преступная мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств и об *общем соединении, которого ожидают не от Божьего произволения*".

Автор статьи дальше от себя указывает на то, что Государь признавал "мнимым" утеснение славян иноплеменными властями и, допуская славянофильское *чувство*, не терпел славянофильской *агитации*.

"Государь (говорит тут же автор) дает здесь доказательство своего политическою рыцарства, объявляя преступною мысль о восстании против законной власти соседних и отчасти союзных государств".

Под этими "государствами" следует разумеать, конечно, прежде всего Австрию, а потом отчасти и Турцию. И я напоминаю уже о том, что Николай Павлович признавал *за собою* право производить давление на султана в пользу единоверцев своих, право воевать с ним и даже подчинить его себе, но за подданными султана права своевольного освобождения не признавал.

Одно ли "рыцарство политическое" руководило им, когда он не допускал славянской агитации ни в Австрии, ни в Турции, когда он вступался против венгров за австрийского императора и за султана против Мехмед Али египетского?

Едва ли! "Рыцарство" это, свойственное ему *лично*, как натуре сильной, благородной и весьма идеальной, не было ли формой, в которой (с личным именно оттенком) выражались его великие государственные инстинкты?

Я говорю нарочно — "инстинкты", чтобы яснее осветить мою веру в важность *бессознательных* или *полусознательных* начал при совершении замечательных дел.

В предыдущей главе я говорил о врачах и об их эмпирических инстинктах, нередко предупреждающих и предугадывающих в своей практике будущую теорию. Такие же эмпирические, полусознательные чувства мы замечаем и у великих полководцев, и у истинно даровитых художников. Надо признать нечто подобное и у государственных людей.

Они могут сами объяснять свои действия одним способом; но история может объяснить это иначе и глубже. Сознательное побуждение великого человека, его собственный взгляд на предстоящее дело — очень важны для его биографии, для определения его личности, для общей психологии, наконец. Но для политической истории важнее результат действия, *влияние* политического поступка на дальнейший ход дел.

Так, например, когда Император Николай вступился за султана против египетского вице-короля и послал высадку в Константинополь для помощи *законному государю*, весьма вероятно, что он сам имел в виду лишь *охранение* господствующего порядка и противодействие всему тому, что имеет вид бунта, восстания и т. д. Но со стороны иные подозревают и в этом поступке преднамеренное, сознательное коварство русской политики; ее прославленную за границей "дальновидность". Во время службы моей в Турции у меня была в руках книга покойного австрийского интернунция Прокеш-Остена

(заглавия ее не помню). Тонкий австрийский дипломат уверяет, будто Россия вступилась за Турцию потому, что боялась возрождения ее под рукою новой, неизносившейся, более даровитой египетской династии. Очень может быть, что Прокеш-Остен и прав, судя по *результату*. Может быть, что победы египтян над турками и вступление Ибрагима-паши (сына и военачальника вице-королевского) в Царьград произвели бы там дворцовый переворот: Мехмед Али воцарился бы на Босфоре, и Турция обновилась бы надолго под управлением этого гениального человека. Во всяком случае, более тесное объединение Египта с Турцией обогатило бы и значительно усилило бы последнюю. Русская высадка на Босфоре пресекла все эти возможности. Поэтому я и говорю: быть может, австрийский дипломат и прав в оценке этого исторического события *по роду его влияния*, но, чтобы судить о том, *действительно ли все это имело в виду* тогдашним русским правительством, чтобы решить, что *оно вполне сознательно руководилось именно этой целью*, надо было или подслушать просто секретные разговоры Государя с его приближенными, или иметь в руках какой-нибудь секретный же русский мемуар или доклад того времени. Ни я, ни Прокеш-Остен и разговоров таких не слыхали, и мемуаров таких не читали. И потому в области предположений мы оба одинаково свободны и равноправны[3].

Он, как австриец и вдобавок лично известный за человека коварного, видел сознательное коварство там, где я, русский, вижу нечто гораздо большее и несравненно высшее: именно, тот великий *государственный инстинкт*[4] который, при сознательном стремлении к цели ближайшей и нередко даже низшей, достигает бессознательно целей дальних и глубочайших.

Прямота и твердость Царя-охранителя, Царя-легитимиста достаточны сами по себе для объяснения всего этого события. Он *имел право* воевать с султаном; он *имел право* разделить Турцию с кем хотел. Но он не желал позволить, чтобы вассалы и подданные (и православные, и другие) восставали противу законной власти даже и того, кого он называл "больным человеком". Если, защищая больного этого человека против взбунтовавшегося вассала, он еще больше повредил ему, то это лишь одно из замечательных проявлений того "чутья", того гениального эмпиризма, о котором я говорю.

В 30-х и 40-х годах легальный либерализм и его исчадие — демократическое парламентарство не изнашивалось так, как изнашивались они теперь. Гражданское равенство, ведущее скоро и к политическому равенству, не обнаружило тогда еще вполне своего антигосударственного характера. Национально-эмансипационная политика также не принесла еще в то время всех своих горьких и вовсе неожиданных плодов. Сословность у нас в России была тогда не только очень крепка на деле, но и мысли либеральные и всеравняющие были в то время достоянием очень немногих русских людей. Все остальные находили, *что и так хорошо*. Сами крестьяне об освобождении редко позволяли себе мечтать. В других государствах, за исключением Франции, также господствовали в то время более или менее аристократические и монархические порядки. Но государственный инстинкт Императора Николая будто предвидел все нынешние дела и порядки, точно предвкушал все ядовитые плоды *эмансипационного* прогресса!

Малейшее влияние либерализма ему основательно претило! Неудивительно, впрочем, что эгалитарный либерализм *у себя внутри государства* представлялся ему все той же революцией, откуда бы она ни пришла: сверху или снизу; в какой бы она одежде ни явилась: во фраке ли французском или в хомяковском кафтане!

Гораздо, по-моему, удивительнее то, что Николай Павлович постигал *в то время*, что эмансипационная политика и *за пределами своего государства* есть дело, хотя бы и выгодное вначале, но по существу крайне опасное и могущее, при малейшей неосторожности, обратиться на собственную главу эмансипатора.

Он постигал полвека тому назад то, чего и теперь еще многим у нас никакими силами не втолкуешь, несмотря на всю грубую наглядность событий, несмотря на то, что

вокруг нас все так и "трещит по швам" и в старой Европе, и в православных странах Востока!

Император Николай, по смотрению Свыше, был призван задержать на время то всеобщее разложение, которое еще до сих пор никто не знает, чем и как надолго остановить.

И он, с истинным величием *гения-охранителя*, исполнил свое суровое и высокое назначение!

VII

Я говорил выше, что Государь Николай Павлович, не доживши до конца XIX века, когда "реакция" начинает мало-помалу приобретать себе теоретические оправдания и основы, — чувствовал, однако, политическим инстинктом своим не только то, что Запад на пути к заразительному и для нас разложению, но что и сама Россия наша при нем именно *достигла той культурно-государственной вершины, после которой оканчивается живое государственное созидание и на которой надо приостановиться по возможности и надолго, не опасаясь даже и некоторого застоя*. И этим гениальным инстинктом охранения объясняются все его главные политические действия и сочувствия: отвращение от либеральной монархии Людовика Филиппа; защита "коварной", *но необходимой еще надолго*, быть может, *Австрии*; венгерская война; заступничество за султана противу Мехмед Али; расположение его к весьма еще в то время аристократической и охранительной Англии; нежелание его, чтобы восточные христиане самовольно восставали против законного и самодержавного турецкого правительства; наконец, и то разочарование в освобожденной Элладе, которое выразилось в словах его (легендарных или исторических, все равно): "Этому демагогическому народу я не дам ни пяди земли".

Государь, как известно, не благоволил и к славянофилам московским, несмотря на то, что видимо сам имел с ними много общего в идеалах и верованиях. Хомяков, Аксаковы, Погодин были приверженцами Самодержавия и врагами обыкновенной демократической конституции; единственную конституцию, которую они *на своем месте* чтили, была тогдашняя английская, ибо в Англии она выросла вместе с нацией постепенно и естественно, — точно так же, как в России утвердилось Самодержавие.

Государь сам был такой идеальный Самодержец, каких история давно не производила. Великобританию и ее порядки он тоже, как и славянофилы, по всем признакам, уважал.

Николай Павлович, как рассказывают люди знающие, молился даже иногда по ночам. Славянофилы все были люди более или менее верующие. Киреевский был даже монахолюбец и друг знаменитых оптин-ских старцев — Моисея и Макария (сконч. в 60-х годах).

Православные убеждения Хомякова известны, и если в богословских сочинениях своих он позволял себе некоторые тонкие уклонения от общепринятых духовенством взглядов, то в жизни он был просто послушным и искренним сыном Церкви. В семье Аксаковых соблюдались обряды и обычаи Православия.

Славянофилы были все пламенными патриотами; они находили только недостаточным в русском человеке тот род патриотизма, который они звали "государственным", и требовали и от себя, и от других большего патриотизма, "*культурного, бытового*". Проблески тех же самых вкусов можно было заметить у Государя. При нем впервые после Петра архитектура церквей наших стала снова стремиться к столь естественному в России византийскому стилю. Даже относительно русской одежды можно подметить одну интересную черту совпадения: в кругу Аксаковых *мужчины* носили русскую одежду, а женщины сохраняли европейскую; при дворе Николая I для *женщин* была введена парадная русская одежда, а мужчины являлись в мундирах европейского стиля.

Что-то как бы неполное с обеих сторон; что-то как бы стихийно стремившееся дополнить друг друга в истории и жизни.

В чем же была глубокая разница? Где была та бездна, которая разделяла московскую мысль от петербургской власти? В чем же главном проявлялась склонность московских патриотов к некоторого рода оппозиции и почему именно так подозрительно взирали на них при Дворе?

Существенная и простая разгадка этой розни в том, что славянофилы были *все либералами*, а Государь *этого не любил*. Сами себя они никогда либералами на европейский лад признать не хотели и против этого рода европеизма даже постоянно писали (когда позднее им писать стало возможным).

Но быть против конституции, против всеобщей подачи голосов, против демократического индивидуализма, стремящегося к власти, и быть в то же время за *бессословность*, за политическое смешение *высших классов с низшими* — значит отличаться от *новой* Европы не главными и существенными чертами социального идеала, а только *степенью их выразительности*. При мало-мальски благоприятных условиях для демократических сил равноправность гражданская переходит в равенство политическое, и свобода *личная* присваивает себе скоро власть конституционную.

Если у нас *теперь* в России сравнительная с прежним личная свобода миллионов крестьян не привела еще ко всем жестоким результатам своим, то это благодаря тому, что они находятся в некоторого рода *новой крепостной зависимости от неотчуждаемой земли и общины*.

Но и это, и все подобное этому стало ясно *теперь*, после опытов самой русской жизни и благодаря общемировому движению умов, почувствовавших к концу XIX века, что идеалами XVIII дольше жить невозможно. Что простой и безусловный *эвдемонический* (всеблагоденственный) либерализм отживает свой век, видно уж из того, между прочим, что детище его — *социализм* — все больше и больше, и в теории, и на практике, раскрывает свой деспотический характер. Либерал Спенсер в наши дни печатает против социализма свою книгу "*Грядущее рабство*". Он предсказывает, что социализм может быть осуществим только в виде *рабского* подчинения общинам и государству. И я думаю, что он прав. Да, говорю я, все это становится яснее теперь, через сто лет после объявления "прав человека", но в 40-х годах все это было еще очень темно и неопределенно. И наши славянофилы высказались полнее и яснее (насколько им это было дано по роду их талантов) в последние 20—30 лет.

В то время, в 40-х и 50-х годах, они печатали мало, они могли только говорить и проповедовать, и то с осторожностью. Государь Николай Павлович *чувствовал*, что под *боярским русским кафтаном* московских мыслителей кроется обыкновенная блуза западной демагогии. "Кроется" — не в том смысле, что они, эти славянофилы, *преднамеренно и лукаво* сами скрывают ее. Вовсе нет! Но в том смысле, что *они не сознают на себе присутствия этой западной блузы*.

Благородные патриоты эти *не замечали* вредных сторон своего учения; они не могли еще отличить этих вредных сторон его от тех истинно спасительных указаний на прошедшее и на будущее наше, которое они нам в других отношениях давали.

Они не догадывались, что прекрасный, оригинальный патриотический *кафтан*, непрочно (т. е. *слишком эмансипационно*) сшитый, спадет со временем неожиданно с плеч России и обнаружит печальную истину во всей ее наготы: "*И мы такая же демократическая и пошлая Европа, как и самая последняя Бельгия*".

Государь Николай видел по некоторым, едва, быть может, заметным тогда признакам, что в старом славянофильстве есть одна сторона, весьма, по его мнению, и европейская, и опасная: *это склонность к равноправности*, и поэтому не давал ему хода.

Государь был прозорлив и прав.

Дай, Боже, нам надеть наконец-то какой-нибудь свой красивый, удобный и даже пышный кафтан, но надо, чтоб он был прежде всего прочно (т. е. *не равноправно и не либерально*) шит!..

VIII

В 40-х и 50-х годах петербургская власть и московская мысль дополняли, как я сказал, друг друга в новейшей нашей истории. Они были тезис и антитезис нашей культурной жизни, оба неполные в идеале своем и оба полезные, — они и теперь ждут еще своего синтеза, который, по прекрасному пророчеству Тютчева, возможен "не в Петербурге и в Москве, а в *Киеве* и *Цареграде*"^[5].

Конечно, борьба в то время была слишком неравна, не только по силам вещественным, но и по степени идейной выразительности.

Петербургская власть тех годов, возросшая на непрерывных петровских преданиях, уже выразила в жизни вполне свой государственный идеал, — до того вполне, что всякий дальнейший шаг, всякое дальнейшее движение неизбежно должно было, хоть до некоторой степени, разрушать веками сложившийся сословный строй государства. Например, у Екатерины II было еще что дать дворянству, что прибавить ему; она утвердила его вольности, дала ему большую против прежнего независимость от государства, от службы и т. д. Увеличивать власть его над крестьянством было бы бессмысленно и жестоко; ибо эта власть и без того была очень велика. После Екатерины надо было или приостановить насколько возможно течение всеизменяющей жизни, или приступить к действиям, противоположным всему тому, что делалось по сословному вопросу со времен Петра и до начала XIX века. Государь Александр Павлович склонялся, как известно, к последнему направлению; но борьба с Наполеоном, в которой протекла почти вся его жизнь, не дала ему возможности увлечься либерализмом. Николай Павлович поэтому застал Россию *именно в том законченном и высшем сословно-монархическом строе*, в котором она сохранилась без существенных перемен со времен Екатерины.

Екатерина могла еще *созидать*; ибо созидание и утверждение государств есть всегда *расслоение* ("дифференцирование", как говорит Спенсер); расслоение же это, это "дифференцирование", т. е. усиление разницы или разнообразия в положениях, само собою подразумевает неравноправность лиц, классов, областей, вероисповеданий, полов и т. д. Николаю Павловичу после нее оставалось только одно из двух: или приступить к уничтожению этого расслоения, к *смешению того, что было резко дифференцировано* (разделено) вековым историческим процессом, или удержать все по возможности *in statu quo*, предохранить все полученное им в наследство от этого смесительного всерасторжения. Он предпочел последнее. Охранение существующего, даже и со всеми неотвратимыми недостатками его, — было его идеей, и эта идея выражена была тогдашним петербургским правительством и во внутренних делах, и во внешних с необычайной силой и последовательностью.

Славянофильское учение, напротив того, обнаружило истинное значение свое гораздо позднее. Оно только теперь, в 80-х годах, начинает распространяться и действовать (пока еще, впрочем, на одни *умы*, а не на жизнь) не одними только либеральными, эмансипационными, протестующими и отрицательными сторонами своими, но и положительными, религиозными, культурными, эстетическими. От 60-х годов и до нашего времени, от аксаковского и самаринского славянофильства, в жизнь, во вкусы общественные, в политику внешнюю и внутреннюю переходило почти исключительно лишь то, что в нем было общего с новейшим европейством, то есть идеи бессословности и смешения; верования в то, что равенство гражданское не повлечет за собою политического народовластия; надежды на то, что дорогое ему (славянофильству) Самодержавие может очень долго простоять без тех боковых опор, которые дают ему *градативное и постоянное, организованное надавливание высших классов на низшие* (так ведь думают и во Франции поборники демократического кесаризма); во внешней

политике — слепая вера в славян и племенной национализм, даже и в ущерб Православию, как было в греко-болгарской распре.

Одним словом, *в жизнь* от 60-х до 80-х годов из славянофильства переходило все то, что было в этом учении *русским* только *по языку*, а по духу и плодам своим от эгалитарно-либерального западничества мало отличалось.

Одна только ветвь этого учения пустила в действительности за истекшее тридцатилетие живые (и, Бог даст, прочные!) ростки. Это мысль о наделении крестьян землею и особенно о сохранении у них поземельной общины. Но ведь эта прекрасная идея и это спасительное учреждение — *не либеральны!* Они именно носят на себе тот характер промышленности о народе, которого требует от высших властей истинное христианство: *нелиберально гуманный, принудительно любящий, деспотически заботливый, разуму личному и собирательному рабочей толпы не доверяющий характер.*

Честь и слава вечная славянофилам за эту их глубокомысленную и православную измену либерализму! Православие жаждет личной гуманности, но на общественную свободу оно взирает в высшей степени недоверчиво еще со времен апостольских. "Учреждения пусть будут суровы; человек должен быть *добр*" — вот христианство!

Об общине славянофилы думали издавна. Что же касается до петербургского правительства, то оно до самой эмансипации не имело и причины заниматься ею и обращать на нее особенное внимание, ибо эта община, по выражению И. С. Аксакова, "находилась тогда под предохранительным колпаком помещичьей власти". Когда пришло время, — славянофилов послушались или только совпали с ними, — я не знаю: но взгляды их, к счастью, восторжествовали в этом отношении.

Дух славянофильского учения и дух петербургской власти 40-х годов, повторю еще, дополняли друг друга во многом.

Вообще можно сказать, что когда дело касалось Церкви, то правее были и остаются до сих пор славянофилы, — они желали Церкви более сильной и более свободной, чем Церковь, реформированная Петром. Это правильное стремление свое к Церкви сильной и независимой они портили только *племенными* пристрастиями. Ибо вместо того, чтобы издали и заблаговременно готовить обновление Церкви посредством какого-нибудь *соборно-патриаршего сосредоточения ее власти в недалеком уже будущем на Босфоре*, они воевали противу греческого духовенства, заступаясь без всякой действительной крайности за болгарских рационалистов-раскольников.

С этой последней точки зрения надо опять-таки указать на то, что и в годы наисильнейшего своего либерализма (в 70 годах) правительство наше исправило несколько своим охранительным инстинктом славянофильскую, в этом деле, немощь. Оно сумело остановить поток опасных племенных сочувствий на краю пропасти и *пока* обошло ее в главном пункте благополучно. *Возможность централизующего на Босфоре синтеза — еще не совсем потеряна.* (Надо бы только теперь уже и спешить!)

Это касательно Церкви.

Что же касается сословности, дворянства и т. д., то теперь стало ясным, что прежние идеи петербургской власти были правильнее идей славянофильских. Как бы ни рассматривали мы эти сословные идеи "николаевского" периода, с самой ли простой и будничной практической точки зрения (т. е. полицейской), или с высшей государственной, или с еще высшей — с культурной, со всех этих трех точек зрения петербургская власть окажется исторически гораздо правее московской мысли тех времен. Для того, чтобы понять, что власть эта оправдана с первой (низшей, но зато *настоятельной*, как хлеб насущный) точки зрения, достаточно вспомнить о тех корреспонденци-ях, которые мы читаем теперь из всех провинций, и еще лучше *пожить самому* в русской деревне (как пожил и я семь лет, от 74 до 81 года, и как живу в ней теперь).

Для того же, чтобы оценить правоту николаевского правительства с точки зрения более глубокой — государственной, — лучше всего перечесать ту краткую и

превосходную по ясности и силе статью г-на Пазухина: *"Современное состояние России и сословный вопрос"*, которой основные мысли совпадают так хорошо с законодательными новейшими начинаниями. И по этой книге г-на Пазухина, и по течению современной истории, и по урокам самой жизни оказывается, что Петр Великий, во-первых, не изломал вдруг весь строй русской жизни (*с этой — сословной стороны*), а развил только то, что было уже приготовлено его предшественниками, Царями старомосковского духа, славянофилами столь любимого. А во-вторых, что мы теперь, испытавши на деле (даже и далеко не вполне) то бессословное смешение, которому славянофилы сочувствовали заодно с либеральными западниками, *принуждены* возвращаться к восстановлению дворянства; принуждены искать новые формы для доставления ему снова спасительного преобладания в народной среде. Мы вспомнили даже о тех *неотчуждаемых дворянских землях*, которые так желал закрепить все тот же Петр! (Ведь все это, слава Богу, нелиберально.)

Успеет ли нынешнее правительство в своих здравых и практических начинаниях или нет; сумеет ли современное дворянство русское стать на истинной высоте своего будущего призвания; свыкнется ли русский мужик с новой *государственной зависимостью* от дворян, как свыкся он прежде с *лично-хозяйственным подчинением* своим, — все это, конечно, наверное решит только грядущее. Но тот, кто хочет верить, что православно-монархическая Россия простоит, не распадаясь, лет хоть 200 еще, — тот должен надеяться и на какое бы то ни было новое сословно-корпоративное расслоение и разграничение общественных элементов наших.

Иначе нарушенное социальное равновесие несколько раньше, несколько позднее, но даст себя знать самыми жестокими и плачевными результатами — "ягодами" нынешних "цветов"!

"Северный исполин" заболел либеральной горячкой; он заразился "бактериями" западной демократии. Припадки неясны, непостоянны, запутанны, переменчивы. Это какая-то *febris versatilis*, как выражалась старинная медицина.

Организм его еще очень силен. Врачи у него нашлись твердые, спокойные, опытные; сами, видимо, без дальних мечтаний, но к *ободряющим* мечтам у других достаточно благосклонные. Они успели уже пробудить в больном гиганте первые признаки крутой и сильной реакции...

Ни торопливости в их борьбе незаметно, ни излишних восторгов, всегда влекущих за собою скорое пресыщение.

Будем надеяться!

Будем *тем еще более* надеяться на успех, что окружающий воздух назлектризован уже "грозой военной непогоды", и есть слишком много шансов на то, что пробужденная реакция совпадет, быть может, скоро с перенесением всех сил великого пациента *на другие, более теплые, здоровые и прекрасные берега!*

IX

Итак, мы видим, что при Императоре Николае I правительство русское славянской эмансипации и славянскому объединению не потворствовало. У себя строго монархическое и дворянское, оно не желало расшатывать этим потворством и охранительную, чисто государственную, ничуть не племенную Австрию. Что касается до действий нашей дипломатии в тогдашней Турции, то и без изучения архивов того времени можно утверждать вообще, что в 30 и 40 годах политика наша на Востоке *имела гораздо более вероисповедный характер, чем племенной.*

Разумеется, что и при Николае Павловиче наши посланники и консулы заступались за всех христиан без различия племени, когда было возможно, за славян, румын и греков одинаково. Но *главным орудием наших действий в то время были или сами турки, или православное греческое духовенство, преобладавшее тогда над всем восточно-христианским миром.* Турки в то время боялись русского правительства; христиане,

подавленные турецкою властью, повиновались русским дипломатам и консулам. Дружа с "больным человеком", не позволяя никому, ни грекам, ни славянам, ни египетскому паше противу него бунтовать и вместе с тем беспрестанно давая ему чувствовать свою силу, — опираясь, с другой стороны, в случаях прямых действий на христиан, на тысячелетний авторитет Греческих Патриархов и Епископов, русская дипломатия того времени могла делать много частного добра православным подданным султана — и делала его. В Салониках, например, существует такое предание.

Своими победами в 29 году и Адрианопольским миром Россия много облегчила участь христиан во всей Турецкой империи, но сразу и она не могла достичь всего того, чего желала и требовала. А требовала она тогда для единоверцев своих лишь некоторой, приблизительной обеспеченности жизни и имущества и вообще обыкновенных гражданских прав.

Во многих местах самоуправство пашей и после подвигов Дибича было еще жестоко, и подавленный фанатизм мусульман давал себя там и сям все-таки сильно чувствовать.

В Салониках один паша в 30-х годах, в угоду мусульманской черни, имел обыкновение каждую пятницу вешать публично по несколько христиан. Весьма возможно и даже вероятно, что их не хватало зря на улицах и не брали без причины в домах; они, быть может, были заключены в тюрьму и судимы за какие-нибудь провинности и небольшие преступления, ни в каком случае не заслуживающие смертной казни. В Салониках в то время был консулом грек, русский подданный, Мустоксиди. Узнавши об этих ужасах, г. Мустоксиди поехал к паше и сказал ему: "Удивляюсь я, как теперь, когда у Императора нашего мир и дружба с султаном, вы решаетесь вешать каждую пятницу единоверцев наших, как собак! Я буду вынужден написать об этом посланнику". Этих простых слов консула было достаточно. Жестокий обычай немедленно был оставлен и никогда не возобновлялся более.

Еще пример... Когда во время сирийских волнений 41 года друзья подступили к христианскому городу Захле (в Ливане), — христиане обратились с просьбою о помощи к русскому консулу Базили, который был в то время в Дамаске для переговоров с пашою о защите христиан. Базили был человек энергический. С небольшой конной стражей он внезапно явился в лагерь дру-зов, готовых напасть на Захле и предать в нем все мечу и огню. Вождь друзов, Шиб-ли-Ариан, тотчас же заключил с жителями Захле перемирие и отступил. По настоянию того же Базили был пашею немедленно назначен особый отряд для защиты этого города.

Консулы наши в то время имели огромное влияние. Христиан в частных случаях, подобных этому, они могли с успехом защищать; но все это делалось во имя *единоверчества, человеколюбия и нашей силы*, а не во имя *принципиальной свободы их*. Греческая демагогия и сербские либерально-чиновничьи инзуррекции не могли быть по вкусу нашему строгому правительству, и оно вовсе не спешило эмансипировать христиан политически, не находило удобным создавать из них новые независимые государства или усиливать их и увеличивать уже существующие территориальными приращениями..

Самая война 53-го года возгорелась *не из-за политической свободы* единоплеменников наших, а из-за требований *преобладания самой России в пределах Турции*.

Наше покровительство гораздо более, чем *их* свобода, — вот, что имелось в виду!

Сам Государь считал себя вправе подчинить себе султана, как монарха Монарху, — а потом уже, по своему усмотрению (по усмотрению *России, как великой Православной Державы*), сделать для единоверцев *то, что заблагорассудится нам, а не то, что они пожелают для себя сами*. Вот разница — весьма, кажется, важная.

Наши права, права *Государя*, права *России* имелись тогда в виду гораздо более, чем *права самих крещеных подданных султана*. Политика того времени имела характер более религиозный и государственный, чем эмансипационный и племенной. Это была политика

православного руссизма, так сказать, политика, справедливо недоверчивая ко всем *чисто племенным* движениям.

Война 53 года была конечным результатом этой прекрасной по духу и прямой политики.

Она была несчастлива — это правда — *как война*; но она была уже тем хороша, что в глубоких основаниях имела характер более *государственный*, чем *племенной и освободительный*.

Служа сам в Турции, я не раз слышал и от христиан, и от турок, что не вмешайся тогда в спор Европа и победы Россия Турцию, то и Святые Места стали бы почти в прямую от нас зависимость и все православные подданные султана оказались бы настолько же под нашим покровительством и под нашею властью, насколько находились католики Турции под фактической властью и покровительством Франции.

Но (прибавляли мои восточные собеседники) *католиков мало в Турции*, и потому, по исключению для них, и можно было допустить значительные привилегии. Православных же очень много, и в европейской Турции они — *большинство*.

Россия при таких условиях, при таком договоре, — и не присоединяя значительных земель, господствовала бы в Турецкой империи почти так же, как Англия в Индостане. Султан стал бы скоро великим Моголом. Христиане были бы тогда и малым надолго довольны... Для них в то время достаточно было бы и того, чтобы их не убивали без суда и безнаказанно, чтобы не били и не грабили их зря.

Вот что говорили мне уроженцы Турции.

Чем же это было бы дурно *для нас*?

Подобные мысли, конечно, руководили политикой нашей и тогда, когда мы в 33 году, после усмирения египетского восстания, заключали с султаном союз и тайный договор о закрытии Дарданелл для военных судов всех наций, оставляя Босфор открытым, и тогда, когда, в 53 году, мы предъявляли те требования наши, которые повели к войне.

Мы потерпели неудачу. Неудача эта не была последствием политики, ложной *по существу своему*. Эта политика была, положим, не особенно *в духе века*. Но в XIX веке, за немногими исключениями, *все то именно и хорошо, что не в его специальном духе*; то, что сохранилось и сложилось *вопреки* его главному (*всеравняющему*) направлению. Специальную эту идею XIX века можно и должно иногда *эксплуатировать* в пользу идеалов высших, можно ей уступать *по нужде*, но служить ей *искренно и преднамеренно*, избави нас, Боже, — отныне и впредь! Довольно с нас!

Неудача нашей дунайской и крымской войны была, скорее всего, результатом того, что мы неверно разочли тогда *вещественные* силы наши, преувеличили их себе.

К тому же я опять, при подобном обсуждении, предпочитаю отступить подальше от подробностей и взглянуть и на эти события с точки зрения моей общей гипотезы *таинственно движущих историю сил*.

Важны тут не стратегические ошибки русских генералов, не ошибочные расчеты *видимых* сил, — важна сила *невидимая*; *важно то, что либерализму и эгалитарности суждено было сделать еще несколько успешных и больших шагов и по Западной Европе, и по восточным ее странам*.

Х

Либерализму *суждено* было еще раз пройти по свету вихрем... На этот раз — по Турции и по самой России...

Здесь, на востоке Европы, уже в 50-х годах случилось то же самое, что позднее и с несравненно большей (к нашему счастью!) выразительностью происходило во всей Западной Европе. *Не узнана была никем всемирная демократическая революция*.

Два восточных самодержавных государства — православное и мусульманское, оба к тому же весьма не эгалитарные и не либеральные по принципам и по строю своему; оба

дотоле каждое по-своему весьма охранительные — были одновременно, хотя и не в равной мере, побеждены и унижены.

Турция была уже тем унижена, что слабость ее была признана всем Западом, который соединился для ее спасения против нас. Одну, без посторонней помощи, ее уже не считали способною устоять.

Россия, после геройской обороны Крыма, должна была тоже сделать уступки и подписать Парижский трактат. Обе эти охранительные державы, обе, можно сказать, по-своему церковные, — Россия, дотоле *столь давно и крепко-сословная, и Турция, в недрах своих столь неравенственная* (по преобладанию мусульман над христианами), обе были разом развенчаны; обе более или менее усумнились в пригодности своих прежних порядков и приступили, так или иначе, вольно или принудительно у себя дома к эмансипационным реформам новоевропейского стиля.

Либерализм и тут восторжествовал над охранением силой европейского оружия. Англия, в то время еще довольно аристократическая, еще не расстроенная так, как теперь, уравнительными реформами Гладстона и его единомышленников; императорская Франция и самодержавная еще тогда и католическая Австрия соединились как будто бы только для того, чтобы обуздать на Востоке *тоже самодержавную и дворянскую Россию* и спасти Турцию, *столь нелиберальную и неравенственную в принципах своих.* Но вся эта западная коалиция, ведомая охранительными силами против охранительных же сил России, привела только к тому, что обе восточные державы, каждая по-своему, демократизовались.

Я сказал: *"Как будто бы только для того, чтоб обуздать"*. Этим я вовсе не хотел сказать, что Наполеон III, лорд Паль-мерстон и австрийские государственные люди все притворялись, что они "будто бы" только хотят ослабить Россию и оградить Турцию, а в самом деле они все желают *лишь либеральных реформ* в обеих восточных империях.

Разумеется, я, выражаясь так: "будто бы", выражение это относил в этом случае не к личному или дипломатическому притворству руководителей западной коалиции, а, напротив того, к *той поистине странной ошибке, которой в подобных случаях страдают несколько более, несколько менее все, даже самые великие деятели XIX века.* Все они с этой стороны являются лишь слепыми орудиями той *таинственной воли*, которая шаг за шагом ищет демократизировать, уравнивать, смешать социальные элементы сперва всей романо-германской Европы, а потом, быть может (кто знает!), и всего человечества. Этот уравнительный, ассимиляционный процесс будет неудержимо продолжаться *до тех пор, пока не достигнет, как и все в природе, своей точки насыщения.* Когда человечество достигнет до этой точки, когда дальнейшее уравнение окажется уже *нестерпимым*, то где-нибудь, в каком-нибудь уголке земного шара люди опомнятся прежде других и найдут средства опять расслоиться и разбиться на группы в новых частных формах, но повинувшись древним, исконным, *непобедимым законам социальной жизни.*

XI

Коалиция западных монархических, католических и аристократических сил победила в 56 году самодержавную, православную и дворянскую Россию; она ее стеснила в пользу мусульманской, тоже самодержавной и к христианам нелиберальной Турции. Кажется, что бы за беда для *общих дел охранения?* Где же тут торжество либерализма и демократии?

Нет! Моя *таинственная Сила* разрушения свое дело знает! Она действует то прямо, то изворотами; она меняет образ свой; она ведет дело свое издавека! И какими же жалкими игрушками оказываются под ее глубокомысленным руководством все эти Кавуры, Наполеоны, Бисмарки!.. Все они покорные и слепые слуги всемирной революции — и только!

Россию победили. Она заключила Парижский мир. Но на совещаниях этого парижского съезда было сообща решено: облегчить участь христианских подданных

султана, *усилить их гражданские права, то есть сравнять их более прежнего с мусульманами Турции.*

Эту уступку державы все-таки сделали православной России. Она была побеждена, положим; но, во-1-х, все державы понимали, что она не вполне истощена и может снова бороться; а во-2-х, моя таинственная "сила" подучила французских политиков *поддержать Россию в этих требованиях.*

Представители демократической Франции, потомки людей, провозгласивших так громко в 89 году "права человека", — не хотели идти слишком резко против человеколюбивых требований России и вдобавок находили в то время *для Франции выгодным*, обуздавши Россию, *осадить и Англию*, которая гораздо грубее и прямее Франции хотела поддерживать Турцию.

Для Турции же равноправность христиан, даже и такая неполная, какую им дал тогдашний гатти-гумайюн, была гибелью.

В 56 году этими уступками были органически неизбежно подготовлены — события 76 и 78 годов. Из Парижского трактата истек трактат Берлинский. Последний же, хотя и вторично *пытался* ограничить Россию, но, в сущности, отодвинул назад ее мало, а только раздражил русских надолго.

Турцию же он *окончательно вычеркнул из ряда сильных держав*, с которыми надо считаться один на один.

Гражданское возвышение христиан в 56-м году привело Турцию к ряду политических восстаний, к бессилию, к войне 77-го года и расчленению...

Сходит со сцены еще одно из тех великих и неравенственных государств, которые крепко сложились в монархической и аристократической Европе времен Возрождения (т. е. в веках 15-м и 16-м).

Исчезает из истории еще одно старое, *знакомое* зло или, вернее, полузло, полублаго, — ибо этот враждебный христианству турецкий мир, построенный сам на весьма идеальном начале, был все-таки значительным препятствием к распространению зла *несравненно большего, — то есть общеевропейского утилитарно-безбожного стиля общественной жизни.*

Посмотрим, каким это *более чистым благом* заменят полузло старой Турции все эти Стамбуловы и Христичи!

Дни Турции на самом Босфоре сочтены уже...

Организм ее, перенесенный в Европу четыре века тому назад лишь географически, связанный с историей Европы лишь по внешности равновесия, а не по сущности основ, не вынес и слабых приемов европейского, навязанного ему либерализма.

Это ясно, как ясно и то, что, побеждая Россию в Крыму и уступая ей несколько в Париже, западные державы подготовили *невольно* современное положение дел.

Все это разматывается неотвратно, как непрерывная нить клубка.

Турция против воли, я сказал, приступила с 56 года к некоторой неполной эмансипации христиан. Она делала это неохотно, неискренно, с основательным страхом за будущее свою. Она была, таким образом, всех менее наивна; она уступала только необходимости и не верила во благо европейского прогресса.

В этом она была права. Она была только несчастнее, слабее всех, как государство; но она *в основаниях своих была всех мудрее,*

всех правильнее смотрела, таким образом, на вещи.

Турция, подобно римскому папству, подобно всем аристократическим элементам Запада, легитимистам, бурбонам, юнкерству, лордам, подобно старой самодержавной Австрии, — была *слишком консервативна в духе, чтобы победить или выйти в наше время из борьбы целой.*

Посмотрим же теперь, что случилось с Россией после того же 56 года.

Самобытную духом, оригинальную нравами, *не доверяющую европейским идеалам* Турцию державы *демократизировали насильно* после Крымской войны. Россия, с самых времен Петра I как бы влюбленная во все без разбора западные идеи, *демократизировалась с увлечением сама*.

Придержанная в течение 30 лет на вершине наклонной плоскости тем великим инстинктом охранения, который был отличительной чертой николаевского царствования, эта побежденная Европой, *старая*, почти *тысячелетняя* Россия — ринулась теперь с каким-то не по годам юношеским пылом вниз по этой плоскости всесвободы и всеравенства.

Я помню это время! Это, действительно, был какой-то рассвет, какая-то умственная весна... Это был порыв, ничем не удержимый!

Казалось, что все силы России удесятерились! За исключением немногих рассудительных людей, которые нам тогда казались сухими, ограниченными и "отсталыми", все мы сочувствовали этому либеральному движению.

Одни потому, что гордились сходством новых учреждений с европейскими, другие, напротив того, радовались потому, что в этих ничуть не оригинальных "новшествах" они сумели как-то распознать "дух древнего благочестия" (!!)

И так как правота людская в истории всегда бывает условна, то мы в *то время*, пожалуй, и правы были. Мы были, я скажу, даже не только сердечно, но и *умственно правы*. Мы основательно находили, что силы России удесятерились от этого толчка. Неправы мы были только в том, что *простирали нашу веру слишком далеко во времени*. Польза государственная была — это несомненно, но прочна ли эта польза? — вот новый и неожиданный вопрос!

Это всегда и везде так бывает. За долгое время неравноправности сословной, провинциальной, вероисповедной и т. д. накапливается, наконец, множество умственных, душевных и экономических не израсходованных, *сдержанных* сил, которым нужен исход, нужна только *воля для наисильнейшего их проявления*.

И даже, мне кажется, чем гуще в смысле разнородного неравенства было прежде замешано вековое это социальное тесто, чем сложнее и глубже была предыдущая и долговременная неравноправность, — и с другой стороны, чем сильнее и внезапнее эмансипационный толчок, тем несокрушимее и бурнее бывает общий взрыв сил, накопившихся в нации за все долгое время этой неравноправной разнородности, просуществовавшей века, где волей, *а где и неволей*, под общим единством власти и преобладающей религии.

Во Франции конца XVIII века все это выразилось с наибольшей резкостью, в России половины XIX века с несравненно меньшей, но все-таки довольно большою; в Англии и в остальной континентальной Европе — с гораздо меньшей, чем во Франции и России, ибо там везде неравноправный строй не был ни внезапно взорван снизу, как во Франции сто лет тому назад, ни видоизменен на скорую руку сверху, как у нас в 60-х годах, а таял медленнее и постепеннее. Что лучше и что хуже с исторической точки зрения, — не чувствую себя в силах разобрать и решить. Одно могу сказать, что для *ближайшего* будущего наш прием был, кажется, лучше и того, и другого, и слишком пламенного французского, и слишком медленного английского и немецкого. И лучше он не только потому, что движение шло сверху, а не снизу (хотя и это в высшей степени важно и для настоящего, и для будущего), но еще и потому, что слишком медленная и постепенная демократизация, хотя бы и посредством реформ сверху, больше входит в плоть и кровь народа, чем тот дух уравниения, который бывает плодом реформ не совсем удачных и сделанных кое-как на скорую руку. (Помнить прошу, что я постоянно имею в виду так называемое *развитие*, а никак не благоденствие *общее на земном шаре*, в которое я не верю и которого деревянный идеал нахожу даже низким.)

Разумеется, если даже и в конце XIX века упорно ставить конечным идеалом (*по-старому*) идеал всеобщего уравниения и однообразия, то лучше всего будут реформы

очень медленные и обдуманно мирные. Ибо они, эти медленные реформы, войдут в жизнь, в привычки, "в кровь" и т. д. Если же отвергать этот идеал всеобщей плоскости, как следует отвергать его во имя всех высших принципов: во имя религии, государственности, живой морали и эстетики, то наше движение за истекшие 20 лет (от 61—81-го года) надо считать, пожалуй, — за наилучшее. С одной стороны, в глазах тех, кому реформы эти были выгодны или идеально-дороги, наша власть сохранила настолько свой престиж и свою популярность, *что она в силах (мне думается) преуспеть и в обратном движении*. А с другой стороны, некоторая торопливость и грубая подражательность этих самых уравнилельных реформ очень скоро уронила, унизила, развенчала их, что, конечно, благоприятно тому же, т. е. *обратному движению*.

Эта-то неполная удача нашего либерально-эгалитарного процесса (неудача, вдобавок, еще сравнительно очень счастливо и дешево нам до сих пор обошедшаяся) и подает некоторую надежду на то, что мы еще можем уклониться от гибельного общеевропейского пути.

Да! *Теперь* я так думаю! Я даже начал так думать уже в конце 60-х годов, понявши из опыта жизни, чтения и бесед — *куда все это ведет*. Многие другие пришли к этому одновременно и позднее. Но не так думал и я в начале этих самых столь знаменательных 60-х годов!

В начале этих годов я был из числа тех немногих, которым уже не нравилось западное равенство и бездушное однообразие демократического идеала; но я, подобно людям славянофильского оттенка, воображал почему-то, что наша эмансипация *совсем не то, что западная*; я не мечтал, а *непоколебимо* почему-то *верил*, что она сделает нас сейчас или вскоре *более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче*. Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо *по-русски*, укажут нам, *какими господами* нам быть следует, — представят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод даже, русского хорошего хозяйства, наконец! Особенно в хозяйство их мы все сначала слепо верили! Верили, кроме того, в знаменитый, какой-то *особливый* "здравый смысл", в могучую религиозность их, в благоразумное и почти дружеское отношение к землевладельцам и т. д.

О том же, что пришлось во всем этом скоро разочароваться, я не нахожу даже и нужным подробно говорить. Это случилось со столькими русскими патриотами, с одними раньше, с другими позднее, — все это до того, наконец, известно, что распространяться об этом не нужно: достаточно напомнить.

Русский простолюдин наш, освобожденный, и хотя и не во всем, но во многом с нами юридически уравненный, вместо того чтобы стать нам *примером*, как мы, "националисты", когда-то смиренно и добросердечно надеялись, стал теперь все более и более проявлять склонность быть нашей *карикатурой* — склонность заменить *почти* европейского русского барина *почти* европейскою же сволочью, с местным оттенком бессмысленного пьянства и беззаботности в делах своих. Карикатура эта, при малейшем потворстве властей, может стать к тому же и крайне опасной, ибо нет ничего вреднее для общественной жизни, как демократизация пороков или распространение в массе народа таких слабостей и дурных вкусов, которые прежде были уделом класса избранного и малочисленного [6].

Даже и добродетели не все одинаково полезны всем классам людей, например, сильное чувство личного достоинства в людях высшего круга порождает рыцарство, а разлитое в народной массе, оно возбуждает *инзуррекции* парижских блузников... *Однообразие развития и тут оказывается антисоциальным*. Можно сказать вообще, что даже и из добродетелей только три должны быть общими и равносильными во всех сословиях и классах для того, чтобы государство было крепко и чтобы общество процветало: *искренняя религиозность, охотное повиновение властям и взаимное милосердие, ничуть в равенстве для проявления своего не нуждающееся*.

Если однородность добродетелей не всегда полезна для общественной устойчивости и силы, то чего же можно ожидать от схождения пороков, дурных вкусов, слабостей и грехов, кроме дальнейшей революции? Нет! Платон остается вечно правым! Для одних нужна мудрость, для других — храбрость, для большинства повиновение!

Мирная революция сверху, производя вскорости некоторое уравнение во вкусах, понятиях и потребностях, располагает и к некоторому обмену пороков и хороших свойств; а это новое и трудно удержимое уравнение ведет позднее уже к *немирным движениям снизу!*

Оно облегчает их — prepares.

Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия, — говорит Г. Спенсер.

Итак, вот к чему привели *национальные* надежды тех, которые в 60-х годах (подобно мне), отворачившись с негодованием от учений "Современника" и "Русского слова", стали жить идеями, более или менее близкими к идеям Хомякова и Аксакова,

Мы почему-то верили, что *наш* либерализм принесет непременно *особые*, хорошие, *национальные* плоды! Мы думали, что на *нашей* "почве" — европейская поливка даст чисто *русский* урожай!

Мы находили, что Россия Николая Павловича была недостаточно своеобразна в высших сферах своих, что она была слишком похожа на Европу. Мы с радостью увидели позднее некоторое принижение этих высших сфер и значительное возвышение низших. Мы думали, что, погрузившись в это "народное море", мы и его еще более сгустим, и сами окрасимся его оригинальными, яркими, неевропейскими красками. И что же? Высшие утратили свою *силу*, низшие — стремятся утратить понемногу свой *цвет!* И теперь, в самые последние годы, когда повеяло, наконец, действительной потребностью духовной и культурной самобытности, когда мы тщимся произвести всему пережитому спасительный синтез, нам приходится беспрестанно и во многом возвращаться к принципам, руководившим Государя Николая I и его помощников, *даже и немецких фамилий!*

Поможет ли нам Господь хоть половину утраченного вернуть?! Это Он Один знает! А мы пока, обращая взоры наши к всему этому уже пережитому, можем только сказать себе так: справимся ли мы или нет *по-своему* с первыми признаками нашего эгалитарного разложения, но несомненно одно — это то, что *Россия после Крымской войны, хотя и не вполне, но все-таки по-европейски демократизировалась.*

Итак, коалиция *охранительных* сил Запада, сил монархических и аристократических Франции, Англии и Австрии (не без участия и католического "благословения"), победивши в Крыму православную, самодержавную и дворянскую Россию — и желая сохранить Турцию, своим торжеством — способствовала как *подражательной демократизации первой, так и либеральному разложению второй.*

Страшно!..

Не правда ли, что страшно?

ХІІІ

Я не без намерения озаглавил эту часть труда моего — "плоды *движений*", а не "плоды *политики*", ибо я нахожу, что с начала 60-х годов восточная политика России принуждена была в большинстве случаев идти более вослед за христианами Турции, чем сама направлять их. Инициатива всех главных движений и переворотов на православном Востоке принадлежала за истекшее тридцатилетие уже не нам, а самим населением. Мы нашим влиянием могли только сдерживать или поддерживать их; могли отчасти регулировать эти движения; пожинали так или иначе их плоды, выгодные нам или не выгодные, но не мы их *возбуждали первоначально*. Политика наша за все это время от Парижского мира до объявления нами войны Турции в 77-м году была весьма деятельна в подробностях, но она была в основаниях своих пассивна.

Мы уже не были ни такими друзьями и покровителями Турции, какими мы стали одно время при Николае Павловиче (от 33 года до 40-го), — ни уничтожения ее и раздела с европейскими державами уже видимо не искали. Желая несомненно постепенного образования на развалинах дряхлеющей империи нескольких независимых единоверных и небольших держав, мы все-таки систематически и преднамеренно восстаний для этой цели не возбуждали. Нежелание воевать, скажу даже больше, — некоторая боязнь новой европейской войны, — заметна была во всех наших умеренно либеральных и нерешительно эмансипационных действиях на Востоке. Не мы возбуждали сербские движения 60-х годов; не мы подняли восстание критян в 66-м; не мы были причиной того незначительного бунта нескольких герцеговинских сел в 75 году — бунта, который повлек за собою такие великие события. Мы только *не отставали* от всех этих движений и старались облегчать и защищать христиан уже тогда, когда восстания их вступали в период полного разгара. Мы делали для христиан многое и прежде последней войны за освобождение Болгарии, но почти все наши дипломатические попытки, и для сербского племени, в начале 60-х годов, и для греческого, в конце их, были неудачны — и разбились о всеобщее недоброжелательство западных держав. Оказалось, что только мечом и огнем, а не конференциями Россия может постепенно добиться того, чего она должна желать, т. е. образования на развалинах Турции нескольких независимых, единоверных ей государств (я говорю, *должна желать*, ибо, несмотря на многие частные неудобства и неприятности, вроде современных болгарских и сербских, — другого исхода нет, и *самой себе* Россия не должна брать, по многим причинам, ничего, *кроме проливов и Царьграда*, с небольшим подходящим округом в Европе и Азии).

Цель вполне правильная и, по обстоятельствам времени, самая естественная; и если поставить себе вопрос только так: "Достаточно ли ослаблена за последние 30 лет Турецкая империя для того, чтобы подобный исход в наше время казался уже близким?" — то, разумеется, надо ответить: "Да, Турция для этого достаточно ослаблена; сперва той самой почти пассивной, колеблющейся и осторожной политикой, которую мы, опасаясь новой коалиции, вели в то время, когда во главе Запада стояла столь опасная нам Франция Второй империи, а потом войною 77 года, которую мы решились наконец начать, убедившись, что теперь никто нам уже не помешает".

С *этой стороны*, при всех наших опасениях, уступках и колебаниях, — мы в общем результате, то есть в отношении ослабления и раздробления Турции, — пожали добрые плоды. С *этой стороны* — да!..

С других же, — конечно, нет, — а очень горькие, напротив.

Внешняя политика наша после Крымской войны и Парижского мира стала *либеральнее, эмансипационнее* прежнего. В этом она совпадала с политикой внутренней реформенных годов, — была внушена одними и теми же великодушными и доверчивыми к "человечеству" чувствами. Но великодушие не всегда дает благие результаты, и доверяться полезнее отдельным людям, чем целым народам.

К тому же, я думаю, есть некоторая разница между *самой Турцией* и *Православной Церковью на Востоке*? Есть разница между мусульманами, с которыми история присудила нам издавна бороться, и между *греческим духовенством, которое живет одними преданиями с нашим народом и которого идеи легли в основу и нашей государственности*?

Политические условия изменились глубоко после Крымской войны. Христиане не были уже под исключительным нашим "смотрением", как прежде. После Парижского трактата вся Европа получила официальное право на вмешательство в дела Турции. Положение наше было таково, что другой политики, кроме эмансипацион-но-племенной, мы и не могли, и не должны были вести в Турции — *противу Турции*. Но несчастье наше было в том, что эту племенную эмансипационную идею мы *допустили неосторожно перенести и на церковно-пра-вославную почву*. Мы еще не поняли тогда ее глубоко революционного характера, ее беспощадности, ее антирелигиозности,

антигосударственности, антикультурности даже и слишком простодушно и неосторожно служили ей, воображая себя очень мудрыми в какой-то грубо этнографической справедливости. Нам казалось, что мы действуем так беспристрастно, так примирительно и вместе с тем так расчетливо. Главное — *"без кровопролития!"* Морально, либерально, современно... Не правда ли? Да; но только все это было *не религиозно*, не православно.

Никакого нет сомнения, что не "моральное", в *новейшем* смысле, но *своевременное* кровопролитие принесло бы Православию гораздо больше пользы, чем та либеральная и гуманная осторожность, которой мы придерживались относительно Турции и Европы в самый разгар греко-болгарской борьбы. Осторожные с врагами, мы были неосторожны относительно Церкви.

Воевать нас все-таки вынудили; но мы решились на "кровопролитие" *не в 70-м году за потрясенную Церковь, с целью все разом покончить* в благоприятное время франко-пруссской войны; *но в 77-м, среди глубокого и невыгодного нам мира в Европе, за избитых славян, — не за само Православие, а за православных славян.*

Сочувствие племенное, а не страх за дальнейшее расстройство Церкви вынудило нас обнажить меч. Либерализм и желание сохранить популярность одушевило нас в 77-м году, а не вера. "Вера" пришла бы в ужас раньше и заставила бы нас обнажить меч — в 70-м году, *ибо именно в то время, когда Пруссия и Франция сразились на жизнь и смерть, турецкое правительство решительнее прежнего взялось раздувать греко-болгарскую распрю.*

Политика наша после Крымской войны приняла характер более племенной, чем вероисповедный, — более эмансипационный, чем национально-государственный. Православие есть нерв русской государственной жизни, — поэтому и на юго-востоке, ввиду неотвратимого нашего к нему исторического стремления, важнее было поддерживать *само Православие, чем племена, его кой-как исповедующие.* Вышло же наоборот потому, что в самих правящих наших сферах было мало *истинной религиозности*, не было *страха согрешить*, допустив до греха раскола слабейших, но разнузданных единоверцев наших?

Император византийский св. Константин сказал на Первом Вселенском соборе: *"Разделения в Церкви Божией кажутся мне более важными и опасными, нежели война и возмущения"*. Но у нас думали иначе, и из-за вовсе не особенно нужной нам Польши (которой чисто польскую часть с удовольствием можно бы отдать хоть Пруссии за одну узкую полосу земли *около проливов*) — из-за этой Польши Россия, движимая национальною гордостью, встала как один человек, — а на начало разложения Церкви на Востоке в 70-х годах общество почти не обратило внимания, а дипломатия ограничилась небольшим волнением, которое очень скоро улеглось, как ни в чем не бывало. Что же касается до русской публицистики, то будущий праведный и строгий суд истории покажет, как много вреда делали в то время Катков и Аксаков своими грубыми и недостойными их ума фразами противу греческого духовенства, *то есть против того именно элемента социального на Востоке, с которым мы бы должны были всегда идти рука об руку, — смиренно и дальновидно переноса даже его не всегда умеренные претензии и его историческую гордость, иногда и досадную, конечно, но вполне оправдываемую и прошедшим, и будущим Православия.*

Затмение. *Fatum!* Попущение Божие! Новые, неожиданные извороты революционного змея, не насыщенного еще разрушением!.. Что делать!.. Прошедшего не возвратишь, но его надо, по крайней мере, *поскорее понять*, пока не все еще погибло!

XIV

Указавши в главных чертах на ту перемену, которая произошла в русской политике после окончания Крымской войны, я хочу теперь сказать несколько слов о самих единоверцах наших, преимущественно о славянах, и о том, *как* они, с своей стороны, вторили тем усилиям, которые мы прилагали к их эмансипации и к тому, что обыкновенно

весьма неосновательно называется их "национальным развитием". (Хорошо *национальное* развитие, которое делает всех их *похожими на современных европейцев!*)

Об югославянах вообще можно сказать, что они за все это время постоянно переходили далеко за черту "свободы", которую мы полагали для них достаточной. Другими словами сказать, *они, просветившись несколько по-европейски* (отчасти и с нашей помощью), *перестали нас слушаться.*

У нас есть привычка во всем подобном винить исключительно свою русскую дипломатию. Это большая несправедливость. Дипломатия может сделать очень многое, и без дипломатов действовать в чужой стране и в мирное время нет, конечно, возможности; но никакое искусство и никакой даже гений не могут обойтись без сознания, что за ними стоит *физическая, военная* сила. И даже этого мало: военная сила не может быть слишком страшной для противников, если они видят, что эту силу то или другое правительство *ничуть не расположено немедленно пускать в ход* для подкрепления своих дипломатических требований. Что, например, мог бы сделать сам Бисмарк, если бы победы Мольтке, кронпринца и других генералов прусских не дали ему возможности стать *действительно* грозным?

Физическая эта сила, положим, у нас была всегда достаточная, и, как бы ни были мы терпеливы и уступчивы, всякий государственный деятель иностранной державы понимает, что и этим "добродетелям" нашим — терпению и уступчивости есть тоже предел, за который переходить весьма опасно. Понимали это очень хорошо и турки, и, несмотря на то что мы были побеждены в Крыму, период нашей дипломатической деятельности на Востоке от Парижского мира до войны 1877 года — можно в некоторых отношениях назвать весьма блестящим.

Турки были с нами часто очень любезны и во многих случаях удивительно даже уступчивы — гораздо иногда уступчивее, чем с западными политическими агентами.

На турок постоянно действовало воспоминание о нашей *силе*. Они остерегались без крайней нужды раздражать наше правительство. Но как могло это самое военное могущество наше устроить *в то время болгар, подвластных Турции?* Чего могли в то время бояться *чужие подданные*, вдобавок столь близкие нам и по древним преданиям веры, и по *модному* этнографическому началу? Устрашать или наказывать их мы могли бы *тогда* только через посредство турок; а этого мы (в то время особенно) не могли себе позволить: руки наши были связаны. На Западе у нас и так было много соперников по влиянию на славян, и они всякой строгостью нашей к ним конечно бы воспользовались, чтобы уменьшить нашу популярность, которой одной -мы только и дышали, не смея воевать. Болгары поэтому и *не боялись* нас ничуть. И хотя они не действовали против нас тогда открыто, как действуют теперь, очертя голову, но постоянно ускользали из рук наших, обманывали нас и делали *совсем не то, что мы им советовали*. Наш "либерализм" казался им всегда недостаточным; он никогда не удовлетворял их.

Граф Игнатъев, например, сам лично был популярен в болгарской политическо-й среде, но и он в этой среде считался недостаточно *крайним*, недостаточно бол-гарофилом, — казался слишком осторожным противу Патриарха, *слишком православным*. Болгарам всего было мало; они швыряли те умеренные брошюры о примирении с греками, которые в то время издавал соотечественник их руссофил Бурмов, и говорили: "Это не болгарские, а русские взгляды". Турок они предпочитали Патриарху и грекам, утверждая, что турки вредят им только "внешним образом", но что против преобладания греков и духовенства их они будут бороться до тех пор, пока не освободят *от церковной власти Патриарха все до последнего болгарского села, даже и в Малой Азии!*" ("Филетизм").

Мы же хотя и готовы были им потворствовать в их "лженациональном" освобождении, но *непременно* путем *соглашения с Патриархом*, а не путем раскола и вражды. Разрыв церковный произошел все-таки вопреки нашим долгим и примирительным стараниям, — хотя отчасти и по некоторой неосторожности нашей. Мы стали, сказал я, либеральнее, чем в 40-х годах; но все-таки мы останавливались с

почтением перед властью Церкви и перед ее древними уставами. Болгарские же демагоги не хотели ничего этого знать... Они входили в соглашение с турками и представителями католических держав, когда видели, что наше посольство не хочет потворствовать им *до конца*. Они прямо жаждали раскола, тогда как мы всячески старались предотвратить его. Мы не успели в этом, мы не могли предотвратить его; но я, служивши сам в то время в Турции, никак не могу судить за это наше посольство так строго, как судят его другие православные люди.

Болгары, не имея никаких оснований нас бояться тогда, пересилили нас. Посольство наше даже в последнюю минуту было нагло ими обмануто. Они, согласившись тайно с турками, 6 января 1872 г., на рассвете, *почти ночью*, объявили в церкви свою независимость от Патриарха. У нас в посольстве узнали утром о "совершившемся факте" *своевольного отложения* уже тогда, когда возврат к порядку был невозможен без объявления войны турецкому султану.

От такого грубого обмана кто же может быть застрахован! От него не предохранят ни таланты, ни желание добра. *Насилие, война за веру, победа* — вот единственные средства, которые были тогда у нас в руках и которых мы не захотели употребить прямо, разумеется, по *недостатку религиозности*.

Раз мы не могли предотвратить подобного обмана и самовольного отделения болгар от Вселенской Церкви, то тем менее могли мы помешать и созванию поместного греческого собора, на котором был основательно проклят раскол "филетизма" (т. е. учение о каких-то чисто племенных Церквях и о праве самовольного отложения, о допущении двойной разноплеменной иерархии в смешанном населении и т. д.).

Болгары находили раскол выгодным для себя; турки, с своей стороны, воображали, что раздор между православными будет *надолго* полезен их разлагающемуся государству. В то же время и у многих афинских греков, старавшихся всячески довести дело до созвания собора и до проклятия, была при этом та не православная, а чисто племенная мысль, о которой я прежде говорил.

Они надеялись и довольно глупо мечтали, что русский Святейший Синод открыто, наконец, заступится за болгар и объявит их правыми. И тогда можно будет и русских объявить раскольниками; можно будет совершенно отделить судьбы своего племени от судеб славянского.

Известно также, что английские политики всячески старались поддерживать эту мысль в Афинах, и одним из главных орудий их, к сожалению, был в то время даровитый и высокообразованный Епископ Сирский Ликург (не "фанариот", но иерарх Свободного Королевства).

Передовые греки желали посредством раскола оторваться от России и всего славянства. Передовые болгары желали, посредством того же раскола, отделиться сперва от греков, — а потом (мечтали многие из них; *даже и духовные лица*) "*надо окрестить султана, слиться с турками, утвердиться в Царьграде и образовать великую болгаро-турецкую державу, которая вместо стареющей России стала бы во главе славянства*". О подобных планах и надеждах мне самому еще в 71 году в Салониках говорил с увлечением (и в то же время с язвительным злорадством) архимандрит Зографского болгарского монастыря на Афоне Нафанаил, впоследствии раскольничий епископ Охридский. Конечно, он мне — русскому консулу, в глаза не назвал Россию "старой"; а все указывал с улыбочками на то, что "ведь русские желают болгарам блага, то чего же лучше, как выкрестить султана и стать на Босфоре великой державой".

Кроме того, у болгар был в "pendant" Епископу Сирскому Ликургу и такой иерарх, который желал для болгар отделения не от греков только, но и *от всего Православия* для того, чтобы иметь право на независимое устройство.

Так думал Иларион, бывший еще до отделения от греков Епископом Макариопольским, — человек в свое время весьма влиятельный.

Вот каково было тогда с обеих сторон настроение наших единоверцев! Вот как охотно приносилась в жертву религия все тому же *чисто племенному началу, все тем же национально-космополитическим порывам!* Я говорю *космополитическим*, ибо ни новые греки, ни тем более югославы не проявляли и не проявляют ни малейшей склонности к такого рода мистическим движениям, которые, отдаляя их от Православия, могли бы привести к созданию какой-нибудь *действительно национальной* (т. е. своеобразной) ереси, вроде нашей хлыстовщины или секты мормонов. Это было бы губительно для личного спасения души тех людей, которые бы этой ересью увлеклись; это было бы очень вредно для всей Церкви нашей; *но это заслуживало бы, по крайней мере, название национального творчества, название далее особой местной культуры;* ибо такие резкие и пластические секты, как мормонская и еще более наша хлыстовская, при глубине и силе чувства сектантов, не могут ограничивать свое действие одной религиозной сферой, а непременно должны, развиваясь, отразиться своеобразными чертами на всем быте, на искусстве и рано или поздно и на светских законах, на государственных воззрениях.

При том же отрицательном *разжижении* Православия, ничем другим, хотя бы и бесовским, но самобытным не заменяемым; при разжижении *древнего* без замены *своим новым*, которое мы видим теперь у всех восточных единоверцев наших, нельзя не согласиться, что *каждый их шаг на пути политического отделения от чужих и политического слияния со своими — ни к чему не приводит, кроме общеевропейского рационализма и общеевропейской демократии.*

Итак, болгары в большинстве были против *православной* России во время этой *племенной* борьбы, столь бесовственно игравшей вековой святыней нашей. Передовые греки также были против нас и Православия, защищая его *каноны* только для *вида*, для отпора славянам. *Кто же в эту тяжкую годину испытаний оставался верен не нам собственно* (ибо мы этого и не стоили), *но общим с нами основам?*

Остались верны этим основам, остались верны Православию, его древним правилам, его духу — только *те самые греческие епископы турецко-подданные*, которых у нас изловчились для отвода глаз звать какими-то "фанариотами"! Такими "фанариотами" были и наш Филарет, и Димитрий Ростовский, и Стефан Яворский, и Сергей Чудотворец!

Они проклинали болгарский "филетизм" на соборе 72 года, но *не допустили* крайнюю греческую партию взять верх и *дойти до разрыва с Россией.* По форме русское духовенство не сделало тогда никакой грубой ошибки. Не нарушая канонів с своей стороны, нельзя было поэтому и греческим иерархам отделиться от нас. *Нарушать же каноны они не хотели.* Относительно болгар они были согласны со своими эллинскими демагогами и поддавались им, ибо болгары *нарушали* каноны; относительно же России они остались непоколебимыми и верными законам и преданиям, несмотря на все скорби и обиды, которые причиняло им тогда наше сентиментальное болгаробесие.

XV

Я сказал достаточно о греках и болгарях. В их новейшей истории гораздо яснее и резче, чем в современной истории двух других восточно-православных народностей — сербской и румынской — выразилась та всеми до сих пор просмотренная истина, что *племенная политика сверху и племенные движения снизу в XIX веке одинаково дают одни лишь космополитические результаты.*

О текущих делах Сербского Королевства говорилось и говорится теперь у нас так много горькой правды, что нет и нужды о них еще здесь распространяться. Демократический европеизм, безверие, поругание Церкви — вот нынешняя жизнь "сюртучного" сербского общества. В этом обществе нет и тени чего-нибудь стоящего внимания с культурно-национальной стороны. Нет пока ни одной черты, указывающей на возможность чего-либо творческого и самобытного в будущем. А все старое, древнее славяно-греческое и славяно-турецкое, казавшееся еще столь крепким в недавние времена,

тает и оставляется. И как ни горько в этом сознаться, но надо сказать, что самая возможность полного объединения всех православных задунайских сербов под властью одного Короля не только не может при современном направлении умов способствовать их бытовому обособлению от Запада, но должна будет, напротив того, распространить еще более во всей сербской среде мелкий рационализм, эгалитарность, религиозное равнодушие, европейские однородно-буржуазные вкусы и нравы: машины, панталоны, сюртук, цилиндр и демагогию.

Вообразим себе, что вслед за каким-нибудь весьма естественным (и даже *нужным*) политическим переворотом, после большой войны на юге-востоке Европы, все четыре национальные группы Балканского полуострова определили с большей точностью свои государственные пределы; вообразим себе Румынию хотя бы и в прежних границах; Грецию — еще увеличенную на север и по островам, Болгарию — единую от Дуная до греческих и сербских краев; и Сербию — тоже единую, составленную из нынешнего королевства, Боснии, Герцеговины, Старой Сербии и Черногории. Представим себе еще одну весьма естественную перемену — князя Николая Черногорского Королем этой объединенной Сербии.

С чисто политической стороны это было бы прекрасно!

Не забудем при этом представить себе, что исполнилось и то, о чем я упоминал столько раз, — что Россия в то же время завладела проливами и утвердилась на них.

При этом условии, при небывалом еще воцарении на Босфоре действительной, центральной, православной силы, большая единая Сербия будет, пожалуй что, и *необходима* для равновесия в недрах того Восточного союза, который должен будет образоваться на развалинах Турции под главенством России.

(Естественные элементы и условия этого союза превосходно разобраны в книге Данилевского "Россия и Европа", желательно бы только, чтобы история или политический инстинкт русской государственности внес бы в этот теоретический план два важных изменения: 1) отсрочить по возможности надолго гибель Австрии и вступление западных славян в эту *неизбежную* конфедерацию и 2) присоединить как можно скорее к этой первоначальной Восточной конфедерации на разумных условиях остатки Турции и Персию. Т. е. *побольше вообще азиатского мистицизма и поменьше европейского рассудочного просвещения.*)

Итак, все сербы задунайские соединились в одно Королевство под властью князя Николая Черногорского. На Балканском полуострове и Средиземном море четыре государства: Греция, Болгария, Румыния, Сербия. Все они в военно-политическом, более или менее тесном, более или менее охотном (или даже пускай и вовсе вначале неохотном), но неизбежном союзе с Россией, *без всяких уже писанных прав Европы на вмешательство*. Для равновесия политических сил это прекрасно.

Чего же лучше? Иначе из-за чего же мы, русские, приносили жертвы?

Но вот вопрос: как подействует такое национально-политическое объединение на дух сербского племени, на его быт, на его культурные особенности? (Умственное, духовное, эстетическое и вообще культурное влияние *спохватившейся* наконец России, влияние с Босфора, более чем с Невы доступное, *надо при этом рассуждении для ясности на время отстранить*, подразумевая пока вначале одно лишь политическое, более механическое, так сказать, чем внутреннее, на самый дух, влияние.)

Прежняя история разбила сербское племя на несколько частей и каждой из них через это самое придала особые, довольно резкие оттенки. Недоступная, всегда независимая, дикая, в высшей степени патриархальная и воинственная Черногория, Сербия, собственно, с начала этого века уже освобожденная и потому скорее подпавшая западным умственным влияниям; Босния, Герцеговина и Старая Сербия, до последнего времени жившие под турком. Эта разница выгодна для богатства духовного. Населения родственные, но долго жившие при разнородных условиях, развившие поэтому в среде своей разнообразные душевные начала, разнovidные людские характеры и разнородные

привычки, проявляют много силы, когда им приходится вдруг объединиться под общей и естественной властью.

Но надолго ли все это в наше космополитическое всеразлагающее время?

И наконец, если примеры большой Италии и великой Германии доказывают, что объединение племенное в наше время, увеличивая на короткое время внешнюю силу государств, ослабляет культурную плодотворность обществ, то чего же можно с этой культурной, *со славянской-то собственно стороны*, ожидать от подобного объединения Сербии? Очень малого

Если при всей страстной жажде видеть могущественную нашу Россию, одетую в цветные восточные одежды, молящуюся все усерднее и усерднее в храмах Господних и с недоверчивым отвращением взирающую на все новейшие истинно-презренные измышления Запада, если при стольких, даже еще слабых, но все-таки ободряющих признаках поворота, которые мы у себя видим за последние года, позволительно сомнение в религиозно-культурной будущности самой этой великой России (сомнение в будущности *не ближайшей* [\[7\]](#), но *очень* долгой, *многовековой*, истинно самобытной и всепоучающей)... то на многое ли с этой-то *высшей* точки зрения можно рассчитывать от нации в каких-нибудь 2—3 миллиона или около того, с самой обыкновеннейшей, бессословной "интеллигенцией" во главе?

О! Если бы возможно было в наше пользлюбивое мещанское время образовать из полудиких, грозных черногорцев какую-нибудь рыцарскую и набожную аристократию и подчинить ей, как "средний класс", "интеллигентных" сюртучников Белграда! Но возможно ли это? Конечно нет! Увы!

О! Если бы современные нам сербы (всех пяти перечисленных областей), соединившись, могли бы выносить неограниченную и патриархальную власть своего нового Короля, одетого в золотую одежду; героя, полководца и поэта, который, по всем признакам, в воспитании своем приобрел и сохранил от Европы именно только то, что в преданиях ее прекрасно: рыцарство, тонкость, романтизм!

Но разве могут восточные единоверцы наши дышать без мелкой конституционной возни? У них и представления нет о другой жизни. Это их поэзия, их мысль, их религия, их единственное развлечение даже! Возможны ли у них такие широкие мыслители, как Хомяков, Соловьев, Данилевский? Невозможны! Существование таких избранных умов доказывает, что есть и в самом обществе потребность глубокой, отвлеченной и в то же время живой мысли; потребность, на которую они дают ответы, есть умственная жажда, которую они утоляют.

Полны ли восточные монастыри (Риль-ский ли, болгарский, например, или святогорские обители), как полны у нас Троицкая лавра или Оптиная пустынь, образованными поклонниками, желающими бесед с духовными старцами, требующими благословения их даже на свои мирские дела? Гостят ли в этих восточных обителях *прямо с целью религиозного утешения*, как гостят у нас князья и графы, генералы и сенаторы, профессора и писатели, светские женщины и богатые торт овцы?.. Нет! "Европейским" грекам, сербам и болгарам *уже* не нужны теперь стали духовники и старцы! *Или они еще не искусились достаточно, чтобы возвратиться к ним*, чтобы повергнуться с любовью и страхом к подножию Церкви Христовой обильный и давний уже запас знания и тонкости, наследственную ношу векового опыта, которая тяготила бы их, как тяготит она многих из нас, русских "искателей"... У них это бремя знания, опыта, личной идеальной тонкости очень легко, и запас этот слишком еще беден для такого смирения! Вольноотпущенный недавно лакей легкомысленнее пресыщенного и утомленного вельможи!

Есть ли у них, у всех этих мелких народ-цев, блестящая, богатая, светская жизнь? Возможно ли из юго-восточной этой жизни написать такой обильный мыслями, изящными образами и тонкими, страстными чувствами *общественный, но ничуть не политический* роман, как "Анна Каренина"?! Невозможно. Пошлите туда самого Толстого, он не напишет его, именно потому не напишет, что он любит реальную правду в

искусстве. Выдумывать небывалого, *непохожего* он не станет. Если найдется слабое подобие чего-нибудь подходящего, то это в турецком и "фанариотском" Царьграде и в двух румынских столицах (Яссах и Бухаресте), но не в Софии и не в Белграде, конечно. Даже и не в Афинах!

Существует ли на православном Востоке наша русская или английская помещичья, просвещенно-деревенская жизнь?.. Нет, не существует. Вот, значит, и этих занятий, этих утех, этих привычек, идеалов и преданий — там нет.

Вся жизнь, все дыхание и вся поэзия жизни в этих странах состоит в коммерческой и политической борьбе. Без них там людям тяжело, скучно. Константин Аксаков говорил, что североамериканцы "приняли слишком много внутрь государственного начала; *отравились политикой*". С несравненно большим основанием то же самое можно сказать про восточных единоверцев наших и в особенности про югославян, про болгар и сербов. *Политическая борьба* внутренняя и внешняя, *как личная* наисильнейшая идеальная потребность людей, и *общеевропейский демократический идеал* (переведенный на свои вовсе не красивые славянские наречия) *для всей нации*, — вот что им нужно пока, — и больше ничего! Иначе они и чувствовать не могут, ибо при *таких* условиях, какие мы знаем, а *не при иных* они вышли на свет современной истории из-под столь полезного их *прежнему* воспитанию, хотя и ненавистного им, азиатского плена. Вышли они из пастушеской и простодушно-кровавой эпопеи недавней старины своей и попали прямо головой в серую, буржуазную, машинную, пиджачную, куцую — Европу наших дней, изношенную уже до лохмотьев в течение прежней великой и страстной истории своей.

XVI

Все эти четыре нации родного нам Юго-Востока: греки, румыны, сербы и болгары — *с виду* (культурно-бытового) теперь очень между собою *схожи*, несмотря на все *несогласия* свои... (Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия...)

Разница между ними не больше, чем разница между четырьмя карточными валетами...

И самые яркие, самые "червонные" из всех четырех восточно-православных валетов этих в настоящее время все-таки болгары. По крайней мере — бандиты, разбойники и умеют народ свой заставить себе повиноваться... Они бьют друг друга, бьют духовных лиц; секут бывших министров, производят церковные *coup d'Etat*¹, сажают по несколько епископов разом в экипажи и увозят их куда-то. Не насыщенные своим отложением от Вселенской Церкви, они хотят уже и от своего экзарха произвести раскол на расколе. Если бы они не нуждались в мнении больших монархических держав Запада, — они давно бы, я думаю, закрыли храмы и объявили бы "царство разума"! Они топят ночью граждан своих в Дунае, — они не боятся Турции; знать не хотят России; Австрию тоже, конечно, стараются эксплуатировать как-нибудь в свою пользу. Сербов разбили наголову! Что ж? По крайней мере сильно, просто и *нам впредь поучительно!* Поучительно, между прочим, — и в том смысле, что, чем свободнее, чем беззаветнее чисто национальная племенная политика, тем она революционнее, тем государственный нигилизм ее нагляднее. Перед болгарской революционной диктатурой молодца Стамбулова бледнеют все прежние эллинские умеренные волнения, а тем более вялый и дряблый румынский либерализм. Греция освободилась впервые в менее отрицательные времена, и у ней есть великий охранительный тормоз: глубокая связь ее истории с историей Православной Церкви. Румыны, менее всех других народов Востока родственные России по крови, языку и по западным своим претензиям, *со стороны социального строя зато* — более всех этих народов напоминают Россию. У них, как и у нас, было крепостное право, были сословия, было дворянство знатное и дворянство низшее реформы, положим, и у них, как и у нас смешали все это в одну либерально-равноценную болтушку; но нравы, предания, привычки привилегированных сословий надолго еще переживают права и привилегии и влияют на жизнь. В Румынии поэтому

какая-то тень дворянского духа и дворянских привычек должна иногда (почти невидимо) тормозить все то, что так неудержимо рвется вперед в Болгарии, — более дикой, молодой и лишенной всяких *осязательных* преданий. Сербское племя тормозится пока на общереволюционном пути тем областным раздроблением, о котором я выше говорил. Разница, как видим, есть между этими четырьмя народностями православного Востока, но это не какая-нибудь *существенная разница в духе, в идеале преобладающего общественного направления*; это *разница в степени напряжения одних и тех же наклонностей*. Различие не качественное, а количественное.

Все эти народы идут пока на наших глазах не в гору истинно культурного обособления от Запада и органического своеобразного расслоения внутри, а под гору демагогического внутреннего уравнивания и внешней всесветной ассимиляции в идеале "среднего европейца". Различие не в цели стремления по наклонной этой плоскости, а только — в силе *тормозов*.

Всех сильнее и крепче тормоз у греков, всех ничтожнее — у болгар. Румыны и сербы — первые по социальным причинам, вторые по внешнеполитическим — занимают между ними средину.

И вот, возвращаясь снова мыслью моей к последним, к задунайским православным сербам, снова говорю себе:

Политическое объединение всех сербов, хотя бы, например, под властью князя Николая Черногорского, возведенного в Короли, желательно при известных обстоятельствах для будущего политического равновесия в неизбежной Восточной конфедерации с Россией во главе. Объединение сербов — вопрос одного лишь времени, и видеть князя Николая Королем всех сербов желательно не потому только, что он был доселе верным союзником России (это может легко измениться), — нет, я не то имею в виду. Я не публицист "дипломатических" фраз *в угоду завтрашнему дню!* Это не мое призвание — хвалить лишь то, что *сейчас* союзно, и бранить лишь то, что нам *теперь* враждебно. Сознаю, что этот способ действия, эта ложь, это всеобщее соглашение искусственного и притворного пристрастия приносит свою долю пользы отечеству, ибо действует возбуждающим образом на большинство читателей (то есть на тысячи и тысячи умов, *в политике* недалеких). Но что ж делать? У всякого свои наклонности. Для меня сильный человек *сам по себе*, яркое историческое и психологическое явление *само по себе* дорого даже и в Мексике или на мысе Доброй Надежды, а тем более в славянской среде, которую я боготворил бы, если бы она не была вообще так похожа на самую серую, самую казенную, самую до швов истасканную общеевропейскую демократию. Мне дорог Бисмарк *как явление, как характер, как пример* многим, хотя бы и доказано было, что он нам безусловный враг. Мне жалок Гладстон, который употребил силу своего характера и своего ума на то, чтобы сознательно двинуть когда-то великую, своеобразную родину свою как можно дальше по пут и все т ого же проклятого прогресса, все той же уравнительной бессмыслицы. Он жалок мне, хотя бы он был тысячу раз друг России. Россия еще недостаточно *умом* самобытна, и потому дурные политические и культурные *примеры* для нее опаснее политических врагов. Внешние враги, войны, даже открытые бунты там и сям для России не должны быть страшны. Ее ближайшая будущность, ее *ближайшие* триумфы несомненны. Страшны должны быть для нее *пошлые примеры и вялые* влияния. Сомнительна *долговечность* ее будущности; загадочен *смысл* этой несомненной будущности, ее *идея*. И я ли один так думаю? Нет, я знаю, многие в этом согласны со мною. Только не скажут громко, а лишь "приватно" пошепчут...

Поэтому и князь Николай должен быть дорог *не только и не столько как союзник России, сколько как славянин, высоко и своеобразно развившийся, поэт, полководец, политик, герой* в живописной национальной одежде.

Но если... (положим)... если в самом деле сбудется то, о чем я говорил?.. Если он воцарится в Белграде?

Не облечется ли он в "Европу" всячески — и в прямом, и в переносном смысле? Если даже и в Черногории уже зандобился какой-то "кодекс", если для составления этого "кодекса" отыскан даже кровный черногорец Богишич², то чего же ждать от *либерального пансербизма*? Если сам Бисмарк в столь разнородной и содержательной когда-то Германии стал (хотя бы невольно, а не преднамеренно, как Гладстон), стал орудием космополитической ассимиляции, то что же против этого течения может сделать самый энергичный и даровитый Король небольшого и духом ничуть не оригинального племени?

Сила обстоятельств превозможет его!

О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс!

О, тучная, усуренная кровью, но живописная гора³ всемирной истории! С конца прошлого века — ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей: *средний рациональный европеец*, в своей смешной одежде, *не изобразимой* даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью!

Нет! — никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного, серого, рабочего, *только рабочего и безбожно бесстрастного* всечеловечества!

Возможно ли любить *такое* человечество?!

Не следует ли даже ненавидеть *не самих людей*, заблудших и глупых, — а *такое будущее* их, всеми силами даже и христианской души?!

Следует! Следует! Тривжды следует! Ибо сказано: "Возлюби ближнего твоего и возненавидь *грехи* его!"

<XVII>

(Публикуется впервые. — Сост.)

Я кончил и спрашиваю себя: неужели не ясно теперь, что племенная политика как правительств, так и самих наций есть в *наше время* — не что иное, как одна *из форм всемирной революции*, один из самых сильнейших способов *космополитического все-смешения*?

Я говорил о самой России и Турции со дней Парижского трактата; о *свободной Греции* и *объединенной Румынии*; о болгарях, купивших первоначальную свободу свою отторжением от Вселенской Церкви, и о неизбежном в более или менее близком будущем пансербизме, не могущем, по-видимому, ничего дать, кроме — самой обыкновенной современно-европейской плоскости "передового" стиля.

Везде — на всем этом обширном протяжении от Ледовитого океана до Средиземного моря и от Великого океана до пределов Западной Европы — за последние 30 с небольшим лет космополитическая революция сделала невероятные успехи. Везде ослабление религиозного чувства; везде демократические наклонности (даже и бескорыстные у многих); везде больше противу прежнего сходства с Западом в *быте*, привычках, понятиях и модах!

Разница между самой Россией и православным Юго-Востоком, впрочем, та, что в первой с 81 года начался все больший и больший переворот к *охранительной реакции* и в *действиях власти*, и в *стремлениях мысли*; а на Юго-Востоке — ничего подобного еще не заметно и не может даже и быть, ибо там *власти* общей и сильной нет, а *мысль* своя еще незрела и европеизмом еще не пресыщена, — не доросла еще до той *потребности* независимости от Запада, к которой порывается эта национальная мысль у нас — на всех поприщах.

Вот разница.

Но (с другой стороны) если мы вообразим себе две картины *всего православно-мусульманского Востока*: одну времен Государя Александра Павловича, 20-х годов, или даже и времен Императора Николая, 30—40-х годов, а другую — современную нам, — то, разумеется, мы будем поражены при виде тех успехов, которые сделала и на Востоке за истекшие полвека всемирная революция.

Вообразим себе сперва время Николая Павловича и султана Махмуда, — положим, даже и после освобождения Эллады.

Какое *разнообразие* нравов, положений, законов, обычаев, воспитания и вкусов! Какое еще твердое *единство* Православия!

Была *разнородность* власти в России, на Босфоре, в Египте, в Греции, Сербии, Черногории, Молдавии, Валахии. Была поразительная *пестрота* жизни, но было упорное и покорное духовное *единение в Церкви*. Государь русский на Севере; Патриархи на греческом Юге. В России крепостное право и властное, богатое, покойное, в высших своих слоях столь изящное и тонкое дворянство. *Николай Павлович; Филарет; Пушкин*. Какая *триада*! Не бедна духом, должно быть, была жизнь первой половины этого века в России, — если ее "почва" произвела трех таких исполинов — Церкви, Царства и поэзии! И все они трое были в умственной связи; все трое *признавали* друг друга.

На Юге турецкое крутое и грубо-распущенное владычество; молодая еще тогда, новая, эллинская свобода, — по гражданскому идеалу, положим, не самобытная, уже вполне западная, но по густой еще закваске турко-византийской старины *поневоле*, так сказать, в самой жизни чрезвычайно оригинальная. Соединение большой набожности в массе населения, большой патриархальной и пастушеской наивности с древним риторством и самой новейшей французской демагогией... Какие вожди недавней народной свободы еще живы и действуют. Какие разнообразные и сильные характеры! Колокотрони, Караискаки, Каподистриа, Миаули, Канарис, Метакса, Колетти, Маврокордато, Кундуриоти...

Кто русской партии, кто французской, кто английской; кто был дипломатом иностранной державы (Каподистриа), кто английским жандармом на Семи островах (Караискаки), кто врачом (Колетти), кто граф (Метакса), кто купец или моряк... Колетти, Колокотрони в фустанеллах, как корсары лорда Байрона; Кундуриоти и Миаули в шальварах (а Миаули при этом и в роскошных шелковых чулках); только Маврокордато, Каподистриа и гр. Метакса (к сожалению!) — в сюртуках...

В Сербии старый Милош, в такой же расшитой одежде, как теперь кн. Николай Черногорский. Хитрый, твердый, старинный человек; свинопас и князь; освободитель отчизны и приятель турецких пашей (которые даже дарили ему негрityнок). Старый Милош, который сам рассказывал, что однажды похоронил живого священника вместе с мертвецом за то, что тот, вопреки строгому запрещению брать с бедных больше таксы, потребовал с одной неимущей вдовы несколько золотых.

В Черногории, свободной от турка, неприступной, бесплодной, светом почти забытой, суровой до свирепости, — владыкой Митрополит Православный, *светский государь* [самодержавный] [как малый папа] — над горстью своевольных и воинственных горцев.

В Молдавии и Валахии — богатых, хлебородных — крепостное право, как у нас (с местными особенностями); дворянство полуазиатское и полуфранцузское, еще православное, но распущенное в нравах, давно забывшее оружие; народ — простодушный, робкий, привычный к рабству. В каждом княжестве по *господарю*, вассалу Турции, и по *дивану* (совету), довольно своеобразному учреждению в разнородной среде восточных христиан. Монастыри богатые, многолюдные, "преклонимые" Св. Местам Востока. В общей картине жизни, в языке, духе, нравах этой Молдо-Валахии — странная смесь греко-византийского, парижского, славянского, турецкого...

В Болгарии — безусловное, безмолвное, давнее подчинение туркам; ни дворянства своего, ни духовенства собственно болгарского, ни даже многочисленного и сильного

торгового класса из болгар. Духовенство греческое; богатая часть купечества греческая; начальство — турецкое. Болгары — только земледельцы, пастухи, ремесленники и мелкие торговцы. Они к туркам привычны, сыты, просты и дики до того, что местами по настоянию греческих епископов паши их насильно толпами загоняли в храмы молиться по праздникам. Болгары того времени так же равны между собою, так же просты и дики, как черногорцы, но черногорцы свободолюбивы и чрезвычайно воинственны, а болгары тогда — были трудолюбивы, робки, не воинственны и порабощены *турку*, как порабощен был *своему дворянству* народ вассальной и сословной Молдо-Валахии...

Какое разнообразие жизненных условий!

Оно видно и из этого бледного, краткого абриса. Пусть тот, кто помнит еще 40-е и 50-е годы, или тот, кто читал много о былой жизни Турции и ее христиан, — пусть он сделает усилие памяти и даст волю воображению своему.

XVIII

(Публикуется впервые. — Сост.)

Полагаю, что не мне одному, а многим русским людям представляется несомненным, что внешние политические условия нашего времени могут быть в высшей степени благоприятны для *того* разрешения Восточного вопроса, о котором я не раз говорил. Думаю также, что многие согласятся со мной в том, что для этого окончания стоит принести немалые жертвы, тем более что мы не раз приносили эти жертвы для гораздо меньших результатов всё в том же направлении (в 29, в 53, в 77).

Доказывать здесь подробно и по существу, почему необходимо нам иметь в руках наших Проливы, — я не стану. Я предполагаю это вообще слишком ясным и уже давно понятным делом.

Я хочу закончить здесь мою и без того слишком длинную речь о "национальных движениях на Востоке" — изложением тех надежд моих на Россию, о которых я не раз мимоходом упоминал. Данилевский справедливо замечает, что при великих исторических переворотах в высшей степени важна *одновременность* каких-нибудь событий или вообще исторических обстоятельств.

Вот с точки зрения этой *одновременности* или этого *совпадения* — я нахожу в высшей степени важным и благоприятным следующее обстоятельство:

Восточный вопрос близится к своему окончанию в такое время, когда Россия, переживши либеральный и эгалитарный период своей внутренней политики, вступила в период упорной и решительной реакции про-тиву собственных увлечений этими разрушительными западными идеями.

И для народов в их жизни, так же как и в личной жизни человека, важно не только какое-нибудь событие само по себе, но важно и то *время*, в которое это событие случается.

Если сравнивать историю России с историями многих других наций и древних, и нынешних, то прежде всего в ней замечается какая-то сравнительная бледность, невыразительность, не бурность, не рельефность всего. Худо ли это или хорошо, — не знаю (думаю, однако, что в *культурном* отношении это дурно, а в собственно-государственном хорошо: *твердо, верно*).

Такого же рода бледность, невыразительность, нерешительность, несвязность какую-то и разрозненность усилий — мы замечаем и в упомянутой современной *реакции* нашей...

Не фанатично, не круто, не шумно, не выразительно, не резко... Слабо как будто... Так ли "делали" реакцию в других местах и в иные времена!.. И страшно, и отрадно — вспомнить...

Но, быть может, так и нужно... Медленно, — но верно. Дай Бог!

Положим, что все это не особенно выразительно; однако, если вспомнить, собрать воедино все то, что у нас происходило и происходит в этом направлении с 81-го года, — и самое лучшее сравнить в общих чертах с тем, что, например, происходило за то же время

во Франции, то есть в той передовой стране Европы, за которой все другие нации Запада как бы *поневоле позднее* идут, — то в результате представится картина весьма утешительная с точки зрения нашего *обособления* от Запада. <Текст обрывается. — *Сост.*>

[1] Ее следовало бы озаглавить — "Политика *национальностей*". — *Авт.*

[2] (1603—25)

[3] Оказалось, что Прокеш-Остен был правее меня. Все это было уже напечатано, когда я приобрел книгу г. Татищева *"Внешняя политика Императора Николая"*. Из нее документально явствует, что Государь руководился не одним "рыцарством", но имел в виду весьма важные государственные интересы. На стр. 348 помещены отрывки из письма гр. Нессельроде к Орлову; в этом официальном документе говорится следующее: "Если бы Мехмеду Али удалось низвергнуть султана, то это обстоятельство имело бы для нас самые вредные последствия". . *"Замена соседа слабого и побежденного торжествующим и сильным могла бы состояться только нам во вред"*. — *Авт.*

[4] Значит, я ошибся, не один "инстинкт", но и *ясное сознание политических выгод*. Такая ошибка приятна.

[5] Это пророчество Тютчева относится собственно к примирению Польши с Россией; но я им воспользовался здесь в другом, более общем смысле

[6] Советую по этому поводу прочесть или вспомнить очень умную повесть г. Успенского в "Русской мысли" — *"Пиджак и черт"*. Повесть остроумна и правдива; но, сдается мне, почему-то, что г. Успенский на веру в дьявола негодует по крайней мере столько же, сколько на любовь к "пиджаку". По моему же мнению, — вера в демонические силы есть одно из самых лучших противоядий разрушительному влиянию "пиджака".

[7] Конечно, эта *ближайшая будущность* — надежна.

* Впервые: Гражданин. 1888. № 306, 311, 315, 327, 331, 334, 338, 342, 349, 353-354, 363; 1889. № 7, 13, 41, 45 (Главы I-XVI) Главы XVII и XVIII впервые в ВРС, 1996. Здесь по: КНЛ "Восток, Россия и Славянство". С. 534-566.